Я. Танутрова

# СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Париж

Я. ТАНУТРОВА

# СТРАНИЦЫ

# ЖИЗНИ

Париж
1977

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

## ЖИЗНЬ

Когда из темного туннеля радостно выскочил навстречу яркому солнечному дню наш поезд — с тревожным и жадным любопытством я взглянула на сидящую напротив пару. При дневном свете еще непонятнее, еще несправедливее казалось это жестокое действие природы,

«Ну, для чего все это?» — возмущенно думала я, глядя в безжизненное бледное лицо слепого, на эти ненужные темные очки, на эту специфическую белую палку.

У его спутницы звериное злое лицо, лицо затравленной лисицы. Еще осторожнее надо глядеть на нее, еще неловче за свое здоровье, за свою одежду, за свою несравненно лучшую внешность.

Острые, колючие, непримиримые глаза! Вас только одна пара на двоих...

Вы пришли на помощь вашему несчастному спутнику *до* или *после* несчастья? Вероятно *до*, иначе, несмотря на весь ужас вашего положения, в вас была бы святая жертвенность или некоторая горделивость совершаемого подвига. Вы пришли *до*, и вы ненавидите несчастье, и счастье, и весь мир земной, и потому так страшно от вашего взгляда...

Белокурая девушка рядом со мной перестала улыбаться своему кавалеру; она смотрит испуган-

но и с недоумением. Не надо смотреть так упорно своими большими голубыми глазами на такие действия природы. Мы, более счастливые дети ее, должны глядеть украдкой, словно не замечая. Так легче, не ему (он все равно не увидит), а той, у которой лицо и глаза затравленной лисицы . . .

Жмурятся все глаза от потоков лучей солнца, от блеска стекол, все, кроме тех, что неподвижно покоятся за темными очками. Вот снять очки, и все равно, не моргнут ресницы, не опустятся веки, не сморщатся лоб и нос так некрасиво, но так для всех нас привычно . . . Для этих глаз солнце — ничто! И нечего ему так ярко освещать это бледное ушедшее *в себя* лицо, у которого отнято лучшее и самое нужное.

Но солнцу все равно: что эта белокурая девушка, что затравленная лисица, что темные бесполезные очки. У величайшего благодетеля живущего мира нет души, нет сердца, нет мысли есть только задание освещать все: радость ли, горе ли — все!

На одной из остановок слепой поднялся, когда соседка шепнула ему название станции. Еще беспомощнее казался он в позе ожидания — высокий, тонкий, чахлый стебель, облитый яркими лучами . . . Но как странно поднялась его спутница. Что это? подвернулась у нее нога или онемела? К чему этот дикий прыжок, это ужасное кривлянье?

С содроганием глядели им вслед все; и на миг их лица стали серьезными и словно пристыженными . . . Еще больше, чем красота, привлекает

зрелище уродства! Если б не было этих контрастов как бессмысленны были бы человеческие лица с ярлычком веселья и безмятежного счастья . . .

Кто кого вел? Она его или он ее? Припадая на короткую кривую ногу, с неразгибающейся поясницей, поддерживаемая рукой слепца, она дарила ему свои глаза — в благодарность за его ноги. И опять возник вопрос: когда они встретились, *до* или *после* его или ее несчастья?

Высокий стройный слепец не мог бы полюбить такую страшную зверюшку и отшатнулся бы от нее, если б увидел ее; нормальная здоровая женщина, посвятив свою жизнь слепцу, глядела бы ясно, как смотрят жертвенницы и героини . . .

Значит, было все так, как почувствовала моя, опечаленная чужим горем, душа: у бедного слепца были когда-то ясные зоркие глаза-васильки, у его спутницы — лисичкина хитрая мордочка, с угольками без страха, но осторожными и умными. Была их любовь, как все любви, полна ярких вспышек радости и гнева, тревоги и ревности, и мучительного желания быть *последней;* недоверия и веры в будущее, полна солнечного блеска и тупого уныния, неизмеримой дали и безотрадного тупика, пока не постигло их первое горе: на войне за Родину, за свой дом и семью, высокий стройный солдат был отравлен газами. К нему в лазарет приехала жена, и тогда, по мере потери надежды на его выздоровление, острые лисичкины глаза озлоблялись, наливались ненавистью ко всему, что не он и не она . . . Бравый солдат стал ненужным

*хламом,* за умершие глаза получил нищенскую пенсию и «сидячее» место в парижских метро.

Он по-детски беспомощно привязался к своей жене; стала она ему дороже всего на свете, и не мог он понять своей прежней любви, такой суетливой и такой бесполезной...

Он вторично стал ребенком, а матерью ему стала женщина, еще недавно ему чужая и незнакомая, и такая бесконечно близкая и родная теперь. Только бы смерть не отняла ее, только бы не увели люди! Но его страх стал совсем иным, и в этом новом страхе не было ни прежней ревности, ни прежней обиды...

Когда его пальцы стали чувствительны и зорки, он ласкал ее и видел по-новому, и казалась она ему совсем не женщиной, а доброй милой мамой, которая родилась для него специально и *после* него, после его несчастья.

Он даже был счастлив по-новому, нам не понятному закону, когда смирился и перестал рвать до крови ногтями спокойные ненужные веки. Когда он слышал голоса мужчин наряду с голосом своей жены, он своими *зоркими* пальцами искал ее руки. Он успокаивался от родной теплоты и словно видел ее лицо — равнодушное женское в отношении чужих и заботливо страдальческое в отношении его...

Ну, а потом случилось с ней несчастье и она слегла надолго. Он просиживал у ее постели дни и ночи и боялся только одного: ее смерти. Она хотела ее, но глядя на его мертвые глаза, ей станови-

лось жаль его и она смирялась со своим новым горем, со своим калечеством. Встала она после долгой борьбы со смертью и плохого лечения страшной зверюшкой и рада была его слепоте: он не мог видеть ее безобразия...

К нищете привыкли и бывали иногда счастливы гораздо больше прежнего, когда неизвестность и тревога за будущее не давали уснуть по ночам... Теперь стали спать спокойно и крепко — все потерявшие, ничего не ждущие, оба обобранные злою судьбой и оба к ней равнодушные.

Они решили, что когда умрет один, другой немедленно последует за ним, и впервые поверили данному друг другу обещанию.

На людях он был спокоен и безразличен за себя и за нее, а она колючим взглядом мстила тоже за обоих, и в этом страшном контрасте была некая логика и некая гармония, которой нам, не обиженным судьбой, не осмыслить и не понять.

## ЖРЕБИЙ

Тридцать пар глаз устремленных на нее: с испугом, восторгом, жадностью, с надеждой... Серые. голубые, карие... Дети выстроены по росту, как куклы в игрушечном магазине. Девочки и мальчики вперемежку.

Этот смотр... Она не знала, что это будет так трудно; она шепчет, обращаясь к мужу:

— Но это ужасно, ужасно...

Две монашки в белых крылатых cornettes переглядываются не понимая. Муж отводит жену в сторону, спрашивает:

— Но чем же ты взволнована, дорогая?

— Чем? Эти дети словно рабы, а мы как покупатели рабов. Я не не могу так... Это стыдно, недостойно. Унижает и нас, и их.

— Ну, не выбирать нельзя; нам подсунут преступника, калеку, урода, — пожимает плечами муж.

— Вот-вот, именно: нам подсунут «дрянной товар». Мы этого не хотим, поэтому мы как работорговцы...

Сцена становилась тягостной. Вежливые монашки застыли в позе ожидания. Детские лица покрывала скука.

— Решай! — сухо произнес муж.

Дама встрепенулась, подняла на него умоляющие глаза; легкое короткое слово слетело с ее губ.

— Что?

— Жребий, — повторила она уже увереннее.

Он хмуро согласился. Красивая черноглазая девочка, бойкая, румяная, — вот на ком остановился его выбор, но с этой психопаткой . . .

Проект дамы долго обсуждался изумленными монахинями. Наконец пошли заготавливать билетики. Чета хранила молчание: он — недовольный, она — глубоко взволнованная неожиданным решением. Четырехлетний мальчуган был ей наиболее приятен: такой пухленький, розовый, «вкусный». «Нет! Пусть решает судьба; так лучше, справедливее, человечнее», — думала она, со страхом вспоминая какие некрасивые и порочные лица были у некоторых детей.

— Madame, monsieur, желают присутствовать? — спросила заведующая приютом.

Легкое колебание.

— Да, мы желаем.

Снова прошли в зал, где были собраны дети. Они разделились на группы, болтали, смеялись; некоторые успели поссориться. Черноглазая девочка, приглянувшаяся мужу молодой дамы, со злым искаженным лицом вцепилась в рыжие волосы ровесницы.

«Вот так штучка!» — подумал он огорченно.

Под строгим взглядом наставницы дети присмирели, сбились в кучу. Младшая монашка им

сказала, что madame предложила разыграть в лотерею красивую игрушку.

Проект дамы вызвал взрыв восторга. Дети кинулись к глиняной вазе, куда положили билеты, обгоняя друг друга, отталкивая, наступая друг другу на ноги.

Супруги испуганно наблюдали эту сцену, холодея при мысли, что, может быть, вот эта или тот . . .

Ревели маленькие, ничего не понимавшие, когда монашки совали их руки в урну, командуя:

— Бери одну . . . одну беленькую трубочку.

Старшие торопливо разворачивали бумажки — с громкими восклицаниями «О!», «А!» и спешили к соседу, вырывая у него из рук, толкая. Это была для них новая интересная игра, которую назвали «судьбой», со свойственной детям находчивостью. Теперь они будут в нее играть во время большой перемены.

Была забыта красивая дама с тревожными глазами, ее высокий седеющий муж, наставницы. Брошенные на пол бумажки поднимались, их вновь сворачивали в трубочки и потом тянули из передника черноглазой красавицы, которая кричала как торговка на базаре:

— Идите, идите сюда! . . Ищите свою судьбу . . .

Уже в вазе не осталось ни одного билетика, и монашки недоумевали: у кого же оказался тот, единственный, с крестиком?

Бледная девочка в дальнем углу его разверну-

ла и не решалась подойти, заявить о выигрыше. Ее не замечали — такая она была невзрачная и хрупкая, словно бесплотная.

— Но у кого же крестик? — возвышая голос строго спросила наставница.

— У меня! — наконец решилась девочка, выступая из угла.

Наставница взяла ее за руку и подвела к супругам. Девочка стояла перед ними, робкая, не смея поднять глаз, думая только об одном: что б не расплакаться перед этими чужими, неодобрительно ее рассматривающими людьми.

Ей было уже десять лет, и она все понимала — как взрослая. Знала, зачем приезжают в их приют вот такие богатые люди, надушенные дамы в дорогих мехах и мужчины с седеющими висками. Эти люди, пресыщенные блеском и пустотой светской жизни, на пороге ожидающей их старости пугались своего одиночества, бесцельности своей жизни. Неспособные создать *свое*, они спешили взять *чужое*.

От ее внимания не укрылось, что глаза таких людей искали, прежде всего, здоровья и красоты, и оскорбительно скользили мимо таких как она. Они уводили своих избранников с довольными лицами, точно совершили удачную сделку, даже не оглядываясь на «забракованных».

Эта молодая дама была непохожа на других, хотя и смотрела с жадностью на красивого карапуза, иначе она бы не затеяла эту странную лотерею.

Наблюдательная вдумчивая девочка сразу догадалась в чем дело, и решила, что в этом необычном поступке дамы кроется хорошее и истинно человеческое. Она не слышала слов о *рабстве*, о *торговле*, но остро почувствовала, что дама не желает обидеть никого из них, кого уже достаточно обидела судьба. Вытянув крестик, она не смела заявить об этом, заранее чувствуя, что принесет даме разочарование.

Переход через комнату казался ей бесконечно трудным и длительным, и ей хотелось никогда не дойти, упасть по дороге, умереть... Слезы жгли ее глаза, все тело содрогалось мелкой внутренней дрожью.

Надушенная выхоленная рука легла на ее «чахлые» волосы и приветливый голос прошептал:

— Здравствуй, милая девочка!

Но как в руке не было мягкости и желанной теплоты, так и в этом голосе не звучало ничего ни бодрящего, ни сердечного. Словно из живой дама превратилась в автомат.

Monsieur, о! на monsieur нечего было даже смотреть, — она чувствовала его вражду, его возмущение.

Ей велели одеваться, и пошли заготавливать документы, в которых она была обозначена: Ninette Dupont, 10 лет, сирота, отец неизвестный...

Супруги молча выполняли формальности, что-то подписывали, брезгливо пожимаясь от слова «неизвестный». Может быть вор... убийца?..

Заведующая, явно смущенная, говорила что девочка тихая, услужливая, и хорошо учится, точно оправдывалась за «дрянной товар». Только та, что помоложе, жалела Нинет, украдкой взглядывая на будущих ее опекунов, и думала горько: Что ж — это судьба».

Она крепко прижала девочку к груди, и этот жест прорвал плотину. Слезы покатились из детских глаз, и Нинет выкрикнула громко, истерически:

— Не хочу отсюда уходить, не хочу!

Ее руки цеплялись за накрахмаленный передник монахини, и она была похожа на маленького опаршивевшего котенка, которого вынули из мешка, чтобы бросить в воду.

— Не плачь, Нинет, — шептала монашка, сдерживая волнение, — тебе будет там лучше, чем здесь; madame et monsieur хорошие люди: ты будешь как дочь. У них есть дом, большой, красивый сад, автомобиль... У тебя будут дорогие игрушки.

— Не хочу ничего! — надрывалась Нинет. — И разве вы не видите, что им неприятно что «выиграли» меня, а не Мари или Жана?

Дама побледнела и закрыла руками лицо, словно ее ударили, а мужчина, с видимым облегчением, заговорил:

— В конце концов, не надо насиловать ребенка. Она достаточно большая, чтобы разбираться в своих желаниях.

Он уже вынул, спрятанные было, документы

Нинет, положил на стол перед заведующей. Девочка сразу перестала плакать, подобрала брошенный на пол узелок и ждала, когда ей прикажут вернуться в дортуар.

Красивая дама подошла, робко протянула ей руку и смотрела совсем иными глазами — добрыми и словно виноватыми:

— Прощай, Нинет!..

Никакие другие слова не были бы здесь уместны. Девочка одобрительно улыбнулась и положила в надушенную выхоленную руку свою кошачью, грязноватую, лапку.

## ПЕВЕЦ

Марина выглянула в окно. Да, это в соседнем дворе. Оттуда несется этот мощный мужской голос — голос победителя. Ее глаза хотят различить его черты — напрасно...

Высокий... стройный... широкоплечий... черное пальто... светлое кашне... котелок... Только это удалось ей различить — лицо его далеко, но, наверно, оно красиво и мужественно и, наверно, он не стар...

Видно, что недавно потерял он свое место и пошел петь по дворам — это сразу чувствуется: в его голосе так много юмора над самим собой; он уверен, что «все это» лишь временно... Что делать — война... но он скоро устроится снова... почему бы нет?..

Марина с удовольствием слушает певца, хотя не знает, что именно он поет... какую-нибудь арию из оперы.

Нет, она ему ничего не кинула, ни в этот раз, ни во второй, ни в третий. Ей было стыдно поступать с ним так, как поступают все; но ведь поет он не для удовольствия, а для того, чтобы на брошенные ему деньги купить хлеба, быть может, накормить голодную семью.

Каждый понедельник так, в час дня, когда

Марина сосредоточивается над работой, именно тогда... Сначала она враждебно затыкает пальцами уши и продолжает читать, но глаза уже рассеянно бродят по книжке, и мозг не воспринимает. Это потому, что ей стыдно за свой эгоизм: не хочет подарить ближнему пять минут своего времени, даже раз в неделю. А ведь приятно и послушать его; успеет углубиться в свою науку, когда голос умолкнет и мужчина уйдет.

Вовсе не пять минут, а час или два будет думать о чужой жизни, о превратностях судьбы, будет философствовать, будет себя укорять в бессердечности, в эгоизме. Каждый понедельник так, в час дня... Не сможет потом есть и будет голодная сидеть за столом и думат, думать. — Почему я не такая как все? Почему? Ну, открыла бы окно, кинула бы в бумажке франк, и послушала бы, или закрыла окно снова.

Не выдержала все же: бросила ему деньги, и увидела, или показалось, что мужское неразличимое лицо — улыбнулось ей. Смущенная, она улыбнулась тоже.

Однажды бумажка с деньгами не долетела до него, и короткие французские фразы ввели их в в контакт. Он перешел в ее двор, и она руководила его поисками.

Деньги упали среди клумбы цветов. Он заколебался, но под строгим взглядом привратницы все-же сделал запрещенный шаг на клумбу, поднял бумажку и показал Марине, словно трофей. По-

том развернул ее, в руках его оказалось десять франков и хлебные тикетки.

Марина не отходила от окна, рассматривая его с любопытством; и как приятно стало ей, когда это лицо, еще не старое и такое мужественное, просияло, глава поднялись к ней с благодарностью, и еще раз, красивым жестом, он потряс в воздухе тикетками...

Вот чему он обрадовался, вот чему. Она знала что так будет, недаром целую неделю откладывала тикетки, чтобы не жалко было сразу отдать этот килограмм хлеба... сдерживала свой аппетит, чтобы хоть раз вволю поел этот незнакомый ей певец. Но пусть не думает, что всегда будет так, — это трудно, и потом... он привыкнет к ее жертве и перестанет радоваться. Она хотела не столько наполнить его голодный желудок, сколько вызвать в его душе радость, что вот он не один со своим горем, затерянный в серых дворах, среди равнодушных окон...

Радость... но к радости не надо приучать, к радости не надо привыкать. И потом... она боится, больше всего боится, его благодарности. Рабское чувство, связывающее свободное движение души, вызывающее целую гамму сначала хороших, потом дурных чувств. По себе знает: не любит быть благодарной. Хочет взять как должное, хочет дать как должное — как любовь, как страсть, как дружбу. Дать рукой, словно выросшей из сердца, и только в тот момент, когда это сердце сильно заколотилось в груди. Но момент на момент

не похож, и нельзя заставлять себя повторять самопроизвольный жест.

***

Сколько недель Марина опять не подходила к окну и затыкала уши на голос певца, а в его душе жил красивым воспоминанием женский силуэт на третьем этаже.

Кто она? Добрая... много дает, и эти тикетки... Он не был голодным в тот день, а главное — его душа была полна радости и легкой грусти.

Теперь на нем уже нет котелка — он продал его; он заложил черное пальто, и в эту зимнюю стужу дрожит в легкой «непромокайке»; и голос его уже не так уверен в себе. Никуда не пристроился и коченеет от сырости на открытом воздухе. Целые дни — мокрые тротуары, тесные дворы, закрытые окна. Все реже открываются они, равнодушные... привыкшие. И ее окно... Где она — эта женщина с иностранным акцентом, которая руководила его поисками среди клумбы? Это не была милостыня — нет! Это был хороший товарищеский жест.

Еще и еще... уже безнадежно его глаза ищут ее. И вдруг... приехала? где была? Стоит у открытого окна в эту стужу, слушает его пение, и опять ее жест, но уже иной, непохожий на тот.

Женщина кинула ему деньги и тикетки? Да, много... О! целую карту с буквой «А». И денег

много — разбогатела, что ли, за долгие недели отсутствия?

Спряталась раньше, чем успел поблагодарить ее. Постоял посреди двора и ушел разочарованный и грустный.

А в душе Марины страшная борьба. Она так долго затыкала уши, что когда снова открыла их, — знакомый голос хриплыми ржавыми звуками разрезал ее сердце пополам. Глаза ее, полные раскаяния, увидели результаты бедности: силуэт певца потерял свою величественную гордую осанку, широкая грудь стала оседать и спина горбиться. Это должно было случиться, и причем тут она? Таких как он — тысячи и тысячи в этом городе, и миллионы на Земле. Жестокая Земля, плохо организованная.

В синих глазах Марины гнев и бунт: бороться против жестокой бессмысленной природы! Бороться, сколько хватит сил! Вырвать из глубокой ямы этого человека, поставить его — крепко, солидно — на ноги! Но ведь я сама бедная и не сегодня-завтра пойду, как он, по дворам. Но не пошла еще? Следовательно . . . по мере сил, по мере возможности . . . Позвать его сейчас в эту теплую комнату, пусть сядет около горячей печки.

Уже ринулась было к двери, полная доброго чувства, но перед самой дверью остановилась. А что, если эта дверь, защищающая ее свободу, которая так редко и только по ее желанию открывается перед лучшим другом — должна будет открываться в условные часы? . .

Нет, благотворительность не для нее. Впрочем да, но не такая! Быть богатой, очень богатой, независимой и никому не известной. Кидаться, как ястреб с высоты, заклевывать болезни, слезы, избавлять человека и, как ястреб, улетать. И только с высоты видеть его благодарный взгляд, неповторимый взгляд.

***

Ушел певец, и она не ринулась за ним, как хотела. Затворенная дверь расхолодила ее. Он не явился в следующий понедельник. Он больше никогда не явился.

Марина встретила его на одной из станций метро. Это был почти нищий старик. Жалость кинула ее рядом с ним на скамейку. Жалость продиктовала ей хорошие человеческие слова:

— Вы уже не поете больше? Помните, на маленькой улице в Пасси вы пели по понедельникам в час дня?

Он повернул лицо к женщине с иностранным акцентом; на короткий миг глаза его оживились, но, уставшие, опустились снова. Мощный голос победителя, может быть оперного певца, превратился в жалкий скрип телеги, застрявшей в болоте, и Марина еле-еле разобрала его слова:

— Мне трудно петь . .

Седые космы волос выбивались из-под его засаленной шляпы, воротник грязной «непромокай-

ки» был поднят, защищая шею или скрывая отсутствие белья.

Улыбаясь жалкой беспомощной улыбкой, Марина передала певцу тикетки и немного денег. Он взял равнодушным привычным жестом, как должное, с коротким «мерси». И каждый миг рядом с этим чужим обреченным человеком вязал ее руки и ноги, опустошая сердце и затуманивая ум.

Марина не помнит, как очутилась в вагоне метро, отделенная от него, одиноко сидящего на станционной скамейке.

Еще миг, и автоматически захлопнулась дверь. Поезд двинулся . . . ускорил свой бег . . .

## ПОТОМ... КОГДА-НИБУДЬ...

— Видите ли, голубчик, — говорила генеральша вкрадчивым голосом, — я, конечно, не сомневаюсь, что вы дадите счастье моей дочери, и охотно даю согласие на ваше жениховство, но о дне свадьбы поговорим немного позже, когда переедем в Париж; когда устроимся, а теперь, разве время? На этой неделе уезжаем.

Игорь Александрович прикусил губу и незаметно взглянул в сторону Наты. Девушка, слушавшая мать с большим вниманием, вдруг рассмеялась.

— Какая ты чудачка, мама! Да не нужно нам уезжать отсюда. Раз ты согласна, чтобы мы поженились, зачем откладывать свадьбу, нестись куда-то в Париж?

Уверенно и весело звучал голос Наты, ярко блестели ее темно-карие глаза, спокойным и сознательным счастьем сияла улыбка. И поняла генеральша, что ее дочь полюбила вот этого незаметного некрасивого молодого человека в жалком потертом пиджачишке, с плохо отмытыми после ра-

боты руками, с лысеющей головой, с утомленными глазами, такого скучного и с лицом без улыбки.

Умная и дельная женщина, славящаяся своей практичностью и знанием жизни, она уже давно решила что, попав в большой город, да еще такой как Париж, она сумеет завоевать не только счастье для своей дочери, но и богатство. И вот накануне осуществления этой мечты, вдруг является какой-то господин и хочет ее Нату, ее блестящую Нату, приковать к этому жалкому фабричному городу, к этой полунищенской обстановке, и полуголодному существованию. Нет! Этому не бывать пока она жива, пока еще работает ее мозг, движутся руки, ноги. Но отказать ему нельзя. Она знает дочь, знает ее настойчивость, ее упорство.

Ласково и нежно, с материнской заботливостью, глядели ее глаза, тихо и тепло звучала ее речь, обращенная к молодым, и так убедительно, что Ната и Игорь решили — для их счастья необходима временная разлука, место манекенши в модном доме для Наты и заведующей пансионом — для ее матери ; а для Игоря — изучение шоферского дела и «блестящая форма» ситроеновского таксиста.

И когда Игорь Александрович уходил, генеральша приветливо потрепала его лысеющую макушку и сказала задушевно и просто:

— Я надеюсь, что в своем молодом эгоистическом счастье любящая пара найдет местечко и для бедной старушки.

— Ну, конечно, дорогая, очаровательная София

Ивановна, — искренно ответил жених, с чувством целуя ее удивительно сохранившиеся руки.

***

Прошел год. За уютным овальным столом собралась небольшая компания. Праздновали день рождения Наты. Ната, в прекрасном вечернем туалете, взятом из «мэзона» где она служила манекеном, была очаровательна.

Молодой американец, бесцеремонно развалившийся в удобном мягком кресле, которое ему предложила генеральша, как самому почетному гостю, откровенно рассматривал стройную гибкую фигуру Наты. И были два желания у девушки: спрятаться подальше от бесстыжих опротивевших глаз американца и . . . дразнить и соблазнять его.

Десять минут тому назад она получила поздравительное письмо от Игоря, в котором он ее извещал об окончании контракта на заводе и о своем скором переезде в Париж.

Она и обрадовалась, и огорчилась. Ей отрадно было от сознания, что в среде лжелюбви и лжепоклонения появится правдивая любовь, — сердечная ласка, задушевная бесхитростная беседа, и было грустно от мысли, что тогда должны будут устраниться эти блестящие поклонники с их бесстыжими глазами, но с такими милыми, такими яркими развлечениями, которые перестанут быть ей доступными.

Невесело Нате. Страшно вернуться туда, отку-

да она с такой радостью улетела на крыльях молодости, на крыльях бесконечной свободы.

А рядом мама, блестящая, важная. Куда денется мама, когда она выйдет замуж за Игоря? Они не могут расстаться, они всегда и всюду хотят быть вместе, как две лучшие подруги, как две ровесницы. И маме тяжело было бы вернуться «туда».

Конечно, Ната любит Игоря и она выйдет за него замуж, но не сейчас, а после, когда пресытится яркой шумной жизнью, когда улягутся ее бурные молодые желания. А пока... нет! Ей всего лишь двадцать лет и она красива. Мама говорит, что она может сделаться богатой, если захочет выйти замуж не за... Игоря.

Ната честна. Она ни с кем не изменила Игорю. Ей делали падарки, ее развлекали за ее улыбку, за ее блестящие кокетливые глаза. Но Ната никого не любила, не хотела ничьей ласки. Хотела лишь поклонения, как мраморная статуя. А ласку даст Игорь потом... когда-нибудь...

Ната не без удивления замечает отсутствие матери и одного из гостей. Он противнее всех ее поклонников. Он не так богат как этот молодой американец, но зато он красив. И щеголяет своей красотой, рисуется, ждет поклонения. Ната с ним очень неровная: то гонит прочь, то манит снова... к чему? Она сама не знает. Инстинктивно.

Нате стало скучно и тоскливо. Она пошла разыскивать мать.

В одной из комнат их небольшой, но уютной, квартирки она нашла мать с исчезнувшим Джони.

Они оба рассмеялись, когда вошла девушка.

— Вот она, как раз! — сказала мать радостно.

— Зачем я вам? — улыбнулась Ната.

— Я просил у вашей мамы вашей руки, — сказал просто Джони. — Скажите — это возможно? Вы, кажется, невеста какого-то русского, который работает на заводе?

Он говорил небрежным тоном, развалясь удобно на диване, и в такт своим словам барабанил пальцами по спинке стоящего рядом кресла.

Вся кровь бросилась в лицо Наты. Резкой дугой изогнулись ее брови, над сверкающими гордо глазами.

— Да, я невеста русского, бывшего офицера, господин коммерсант, и без всякого колебания вам отвечу, что за честь быть вашей женой благодарю.

Он лениво, кривя свои красивые губы, подымался с дивана.

— А я благодарен вам, что вы позволяли себя развлекать и принимали мои подарки. Если понадоблюсь, позовите. Не в первый раз . . . До свидания, mesdames.

— Мама, мама, а ведь это оскорбление и, главное, заслуженное, — зарыдала Ната после его ухода.

— Ты глупа, — сказала мать. — Человек делает предложение, а ты ему отвечаешь дерзостью. Была бы богатой, а теперь жди другого такого случая. Или ты, на самом деле, хочешь выйти за это-

го . . . Игоря? Хочешь снова тянуть страшную лямку эмигрантской жизни? Ната, опомнись! Не для тебя «та» жизнь. С ней уже кончено, остался один Игорь . . . Откажи ему! И тогда ты свободна во всех своих действиях. Ты молода, ты красива, но как ты еще глупа!

Она уже не притворялась, она знала, что и Ната боится приезда Игоря, но беда, если он приедет сейчас!

— Что даст тебе Игорь взамен этой жизни?

— Мама, я и сама об этом думала уже. Я не хочу теперь . . . после!

— Не надо совсем!

Слушает Ната. Думает. Соглашается. Еще не стерлась мишура, еще сверкают и манят чудеса жизни.

— Мама, откажи ему.

И радостно блестят глаза у генеральши, достигнувшей желанной цели.

## ДВА ПУТИ

Капитан проснулся рано и сразу взглянул в окно. «Погода хорошая... и значит...» Радостно забилось под грубой бязевой рубахой сердце.

Умные черные глаза смотрят задумчиво на светлеющее небо. Скоро начнут все вставать; придут санитары и его личная сиделка горбунья. Начнется день. Помогут ему умыться и одеться заботливые женские руки; напоят вкусным кофе со свежими булками. Потом... Да, это неприятно... все еще трудно привыкнуть... обидно... ведь кругом все счастливее его, и все так равнодушно любопытны. Разденут его, уложат в липкую лечебную грязь и оставят на солнце. Нет, не поможет солнце. Пусть оно всемогуще, ноги его, некогда сильные мускулистые ноги, навсегда останутся жалкими бесполезными «тряпочками». И для чего мучат? И обнажают его уродство перед взорами других? Для чего?

Слабая искорка надежды у врачей, у профессора, да, только у них, у него — ничего, никаких иллюзий! Ну, а в общем, все равно, пусть все идет своей колеей; фронт, стычка с врагом — своим же братом, тяжелое ранение, лазарет, и вот этот курорт, где лечат, и многих вылечивают, грязью. Пусть свершится до конца то, чему положено

свершиться. Ведь, если бы не эта лечебница, не эти мучительные унизительные минуты, когда бывшие красноармейцы, а сейчас пленные и санитары, облепляют его тело грязью, обмениваясь насмешливыми взглядами: «Вот как мы его — золотопогонника . . .» — не было бы того, из-за чего так сильно и радостно бьется по утрам сердце — не было бы встречи с «ней».

Кто она? Он никогда и никого не спрашивал. Девушка? Дама? Не все ли равно? Там, в распределительной палате, через которую проходили женщины в свою — он увидел ее впервые. В косынке, запыленная с дороги, но свежая, юная и такая вся чистая-чистая . . . Глаза доверчивые, простые, человеческие, сразу понравились, запечатлелись в душе.

— Простите, где здесь женская палата? — обратилась она к нему, именно к нему, хотя были другие, и посмотрела внимательно в самую глубину его страдальческих глаз. Так обычно смотрят сестры, которые пошли служить по призванию, а не в силу какого бы то ни было расчета.

За два дня, пока их не распределили по дачам, он видел ее часто. Она не разговаривала, не останавливалась, но на него смотрела, только всегда украдкой, когда отворяла дверь. Проходила торопливо, не оборачиваясь, и он видел ее полудетский профиль со слегка вздернутым носиком, и провожал взглядом ее стройную хрупкую, в коричневой форме, фигуру, пока она не скрывалась

за дверью. Иногда ему был слышен ее голос, всегда оживленный, но слов он не улавливал.

Горбунья приходила читать ему газеты и книги, а он закрывал глаза и думал о «той». Если б читала не эта, а та, юная, хорошенькая сестра, он забывал бы свое горе и мог бы быть счастлив. Разве для счастья важны формы, условия? Нет! Не любви он ждал от нее — это было бы безумием, — а только ее заботы, ее присутствия, прикосновения ее рук и ничего, ничего более!

Их перевели в разные дома, на разных концах санатория. Он не сможет найти ее — бедный беспомощный калека. Правда, его посадили в кресло на колесах и сестра вывозит его на воздух, где он проводит весь день, до захода солнца.

Но... неужели она?. Вдали по дороге, прошла большая компания молодежи. Боже, какие счастливые! Дурачатся, бегают, смеются, песни поют. Мелькает белое длинное платье, тонкий стройный силуэт. А вдруг это — она?

Капитан оглянулся беспомощно, неспокойно.

— Сестра! Сестра!..

— Я здесь, капитан. Вам что-нибудь подать? — и перед ним выросла его сиделка горбунья. В глазах ее готовность, преданность и безграничная любовь.

Молчит капитан, опустил голову, не смеет сказать правду. Стыдно, неловко. Но сестра ждет, и нужно ответить.

— Воды, пожалуйста! — голос дрожит и ложь в глазах, где столько ума и чувства.

Как странно, что любовь, самое красивое из всех чувств, никогда не обходится без лжи.

Сестра ушла исполнять поручение, а бледное напряженное лицо капитана повернуто туда, и вся фигура его подалась вперед, руки уперлись в ручки кресла и кажется, что вот-вот он встанет, побежит, проверит: она, или не она?

С этого дня он не забывал брать с собой бинокль, когда его вывозили в парк.

***

Итак, вы хотите познакомиться с капитаном, — говорили супруги Б.

Твердо, непоколебимо смотрят серо-голубые глаза молодой женщины:

— Хочу!

— Но для чего?! — удивляется дама. — У вас такая бездна поклонников; смотрите: все, все ищут вашего внимания; самые интересные мужчины желают с вами познакомиться.

— Скучно все это . . . — уныло звучит молодой голос, — скучно, ненужно, неинтересно. Ухаживание, поклонники — для чего мне это?

— О, да, конечно! Куда интереснее читать книги паралитику! — ядовито заметил мужчина, обиженный невниманием Ирины. — Избалованная вы женщина, капризная, вот что!

Он отвернулся от внимательного взгляда жены. Ревность была на дне ее глаз, когда она поспешно обратилась к Ирине:

— Я познакомлюсь с горбуньей, потом с ним, и обещаю, что ваше желение исполнится.

— О, пожалуйста! — оживилась Ирина.

Но проходили дни, а знакомство с капитаном не завязывалосаь. Ирина, окруженная молодежью, всегда в белом, смеялась, веселилась, кокетничала, но пусты и грустны были ее глаза на оживленном лице. Куда бы ни направлялась молодежь, — Ирина всегда тянула их в ту сторону, откуда она могла, хоть издали, увидеть сидящего в кресле капитана. Но это было так далеко!

Ирина писала мужу: «Здесь мне не скучно, у меня много знакомых, поклонников (конечно, ты знаешь, что они мне не нужны), но должна тебе признаться, что есть здесь один капитан паралитик, который так заполнил мою голову, что я непременно хочу с ним познакомиться, только все не удается. Ты не думай, что я влюбилась, это было бы дико, но так мне жаль его, так хочется скрасить его жизнь, так хочется сделать ему что-нибудь хорошее, приятное. У него умные серьезные глаза, и видно что он много-много пережил и передумал в связи со своим несчастьем. Он кажется мне сверхчеловеком, каким-то полубожеством» . . .

Муж ответил:

«Моя сумасбродная девочка! Верю в тебя и в твое чувство ко мне. Ты честная, правдивая и умная, но ты еще такое дитя! Оставь своего капитана в покое. Твоя дружба принесет ему не радость, а горе! Когда-нибудь ты сама поймешь, почему!»

Но Ирина не могла еще понять, и потому реши-

ла ослушаться мужа. «Три недели я буду при нем, три недели буду скрашивать его дни, заставлю забывать о страшной действительности. А, если бы не муж, который такой хороший и такой милый, то не три недели, а всю жизнь я бы посвятила уходу за ним». И она верила себе, ибо молодость всегда недальновидна, всегда самоуверена.

Но судьба берегла капитана. Правда, он страдал, раздражался, нервничал, но разве не хуже было бы, если бы эта хрупкая женщина приблизилась к нему, привязала к себе и потом... через три недели ушла бы безвозвратно из его жизни?

Молодость, здоровье имеют свои неоспоримые права. Он хорошо понимал это и жалел, и оправдывал ее наперед, но в то же время думал с болью и мукой: «Пусть, пусть... если замечу, что ей трудно, попрошу уйти, оставить меня»... Он знал, что кривит сам с собой душой, что совершает сделку со своей совестью, знал, что у нее никогда не хватит совести бросить его — калеку, что она никогда не воспользуется своим правом, *ибо такого права нет!*

Он знал, что погубит ее, что погубит себя.

Пусть! Пусть! Если она замужем, она уедет к мужу, и только три недели рядом с ним, глаза в глазах, рука в руке! Он раскажет ей все что выстрадал за время своей болезни. Она поймет, пожалеет, согреет теплым взглядом участия и чистой искренней слезой. И потом уедет, будет писать письма. Он же будет ждать, всегда с нетерпением, всегда со сладкой мукой. Она пришлет свою фото-

графию, снятую вместе с мужем, и он увидит того, кто счастлив обладать ею, кто может стоять рядом с ней, *стоять*, а не сидеть в кресле, кто может сам ухаживать за ней и баловать ее, кто может все, чего уж *никогда* не сможет он — беспомощный безногий калека.

***

Острые колючие глаза горбуньи засверкали так злобно, что Ирина отступила на шаг.

— Вот моя приятельница, — сказала сестра Б., — она давно хочет познакомиться с вами.

— Со мной? — подчеркнуто спросила горбунья, не подавая руки и глядя прямо в глаза Ирине.

Та смутилась, молчала. Тогда горбунья немного смягчилась; она поняла, что «белая женщина», как назвал ее капитан, не наглая, не самоуверенная, а просто не понимает жизни.

Она сама заговорила о капитане, об его несчастии, об его беспомощности и безотрадной будущности, о том как ей тяжело ухаживать за ним, как она страдает за него душой, что он — такой сильный, здоровый на вид — в то же время такой зависимый, такой жалкий. Говорила об его одиночестве: «Ведь никто по-настоящему не полюбит его, никто не станет всю жизнь возиться с таким бременем, вот разве какая-нибудь калека тоже . . .»

Ирина взглянула ей в глаза — устремленные, горячие, многословные . . .

Она поняла, что горбунья и есть та калека, ко-

торая с любовью несет тяжкое бремя, и что она не уступит свое место Ирине.

Страшная, жалкая соперница! Но имеющая больше прав. И грешно становиться на пути ее — и опасно!

Она подошла к окну и сквозь кружевную занавеску смотрела на сидящего в кресле капитана. На его коленях лежала раскрытая книга — он не читал ее. Он видел, что Ирина вошла в дом, и теперь лихорадочным взглядом искал ее во всех окнах. Большие красивые руки с силой упирались в ручки кресла, точно он хотел встать, чтобы пойти искать ее.

Страстным желанием Ирины было отдернуть занавеску, но она заставила себя уйти в глубь комнаты... Тяжело опустилась на стул, закрыв лицо руками. Обе женщины ушли, так им казалось человечнее, — и она снова очутилась у окна, думая что увидит возле капитана горбунью. Но картина была прежняя: капитан был один, все в той же позе нечеловеческого усилия, все с тем же лихорадочным блеском глаз.

Ирина поняла, все поняла... и то, почему ее так ненавидит горбунья, и то, о чем муж предупреждал ее... Когда успела она заронить в его душу это пагубное чувство? Она не была с ним даже знакома.

Отчего и когда зародилась любовь? Ах, Боже, разве это не все равно? Случилась беда, и она винила себя, только себя! Детские беспомощные слезы текли по ее щекам, и вспоминались слова из

письма мужа: «Сумасбродная девочка!» Да, она — сумасбродная! Ей не так уж мало лет — целых двадцать! И она замужем; должна была понять, должна, значит . . . не хотела?

Нет! Она, правда, хотела ему помочь, хотела скрасить его жизнь . . . Скрасить? Что же, и этого не могла она понять? Скрашивает ему жизнь вот эта горбунья, которая возится с ним по целым дням и будет возиться до конца жизни. А она? Она бы разрушила весь этот искусственый мир, который он создал для себя, чтобы жить. Он все время проводил бы параллель между «ее» действительным миром и «своим» искусственным . . .

И она не могла бы посвятить ему всю жизнь. Если быть справедливой, честной и добросовестной, то доберешься, непременно доберешься, до той глубины в душе, где спрятано это гадкое чувство: испытать любовь вот такого несчастного нереального существа . . .

Такая любовь должна быть необычная . . . исключительно сильная . . . Она же сама сказала про него: «полубожество».

Его величайшее несчастье приблизило его к Богу и к Вечной Истине. И вот ей захотелось не то подняться за ним к высотам, не то сдернуть его на землю, где ей скучно, где все ей кажется недостаточно серьезным . . . Она любит контрасты во всем и, значит, тут . . .

Горькие слезы текли по ее щекам, а горбунья уже давно глядела на нее грустными понимающими глазами.

— Это хорошо, что вы плачете . . .

Слова горбуньи точно из могилы донеслись до слуха Ирины, и она испуганно вздрогнула, не сразу поняв, в чем дело.

— Капитан спрашивал: не у меня ли вы?

— И вы сказали? . .

— Я сказала: нет!

— Это . . . Это . . . хорошо . . .

## СТРАУСОВОЕ ПЕРО

— Чей это портрет? — спрашивали гости, попадая впервые в скромную квартиру Николая Петровича и его жены Зинаиды Павловны.

— Это моя мать, — отвечал Николай и тут же пояснял:

— Большая была охотница до балов, маскарадов и всякого рода светских развлечений.

— Неудивительно. Ведь какая красавица! И если вдобавок была богатой и знатной...

— О, да, — с тяжелым вздохом соглашался Николай, — не такая была ее молодость как наша, не такая...

Глаза гостей с интересом и почтением устремлялись на хозяина дома, но он ограничивается лишь намеками на свое блестящее прошлое. В свою очередь и гости, двумя-тремя фразами, стараются показать, что и они не всегда были шоферами и портнихами, что их мамы тоже порхали по балам в бальных платьях, а папы были чем-то, ну, скажем, генерал-губернаторами или владельцами майоратных имений в необъятной Империи Российской.

Эти намеки очень удручали Зинаиду Павловну; она в свое время так сильно пострадала за буйную свою фантазию; ее так часто «выводили на чис-

тую воду», что она, в силу необходимости, перестала лгать, сделалась скромной и осторожной.

Однако, молчать как рыба, когда многие из знакомых делятся при ней туманными воспоминаниями о былом величии; когда почти в каждом доме, куда она ходит с Николаем, натыкаешься на обрывки этого величия в виде портретов, семейных альбомов, серебряных солонок и подстаканников, — не легко. Хочется самой сказать такое, чтобы все ахнули, преисполнились к ней уважением и завистью . . .

Скучно и тоскливо Зинаиде Павловне среди гостей, с которыми нельзя касаться своего прошлого, которым нельзя показать фотографию ее мамы «в платочке». Даже Николай не знает, что эта фотография существует; лежит глубоко запрятанная в чемодане, но Зинаида Павловна часто ее вынимает в отсутствии мужа, смотрит на нее сквозь слезы и причитает:

— Ты, мамуся, не обижайся, что я тебя прячу от насмешливых людских глаз и что стесняюсь твоего вида перед мужем. Не сказала я ему сразу, кто мы такие, а потом, когда вышла замуж, уже было поздно. Так и живу с обманом. Тяжело мне это, словно я воровка перед ним, но боюсь, что если теперь скажу правду, — разлюбит он меня и начнет презирать. А ты уж, все равно, в гробу. А душа твоя у Господа Бога в раю небесном. Прости свою дочку, мамуля.

Глаза с фотографии смотрят строго на дочь и словно говорят: «Не прощаю!»

— Прости, мамуня, — продолжает Зинаида Павловна, — прости свою Зинушку! Верь мне, что если бы ты жила сейчас, я бы тебя выписала в Париж, одела как барыню, шляпу бы купила модную. Сумочку, перчатки. Беленькие надушенные платочки подносила бы ты к лицу чуть что . . .

Глаза на фотографии не смягчаются, и Зинаида Павловна начинает кривить душой:

— Ну, уж чего! Не такая я преступница. Есть дочки и похуже меня: гонят «простых» матерей прочь. Или за няньку свою выдают, как эта докторша Микулина — «мадам Микулинофф»! Вот это — грех! А я . . . Я, мамуленька, никогда от тебя не отказалась бы. Мать ты мне. Так и сказала бы всем, что — мать! И не твое лицо прячу я от людей, а платок этот простецкий, досадный. Будь на тебе шляпка, хоть самая скромная, — стояла бы и ты в рамочке на камине. Гости бы спрашивали: «Кто эта дама?», а я сейчас же: «Это моя мать».

***

Однажды, роясь в чемодане мужа, Зинаида Павловна наткнулась на старый портфель. Хотела его открыть — не поддается: не то заперт, не то заржавел замок. «Вот еще, от жены секреты», — подумала она недовольно и стала ощупывать портфель и трясти его. «Там что-то есть . . . письма от дамочек . . . и то и фотографии . . . Так и есть — фотография!» — возмутилась Зинаида Павловна и решительно, ножницами, подпорола один из швов.

Жадно засунула в прорез руку и вытащив снимок поднесла его к гневно сверкающим глазам.

«Что за наваждение? Неужто это... да нет... не может быть!» Положила ладонь на бюст снятой женщины, всмотрелась в ее лицо, и вдруг как расхохочется... «Вот так аристократка! В бальном платье! Видали вы? Ай да Николай! До какого трюка додумался! Чтобы родной матери отрезать голову да приставить ее на чужие плечи! Хорош сынок...»

Подошла с фотографией к портрету свекрови, стала сравнивать.

«Ну, конечно, — трюк. Снимок тот же. Голова немного вбок. Та же прическа. И шея та же. Но голые плечи и это шикарное платье — не ее! Ах, Коля, Коля! Не могу я любить такого обманщика, как ты. И не прощу тебе, не прощу!»

Стало ей так горько, что даже заплакала, но вспомнила, что и сама обманывала мужа: «Мать помещица, дедушка генерал, а отец судья», хотя легального отца у нее не было...

Вспомнила про «институт», который «окончила», и про «высшие женские курсы», и про «ландо», и про «гувернантку...» Прикинула мысленно: чей обман хуже? И решила предать все эти дела забвению.

Однако в голове ее, помимо воли, уже созревал план: «А почему бы и мне не проделать то же? Снять платок с головы матери, заменить шикарной шляпой — это любой фотограф может».

Кинув обратно в портфель снимок свекрови,

и еще раз презрительно улыбнувшись по поводу ее безвкусной простецкой полосатой кофты, она с фотографией своей матери отправилась к русскому фотографу. Долго советовалась с ним, торговалась, наконец согласилась заплатить значительную сумму. После ее ухода фотограф расхохотался, но заказ выполнил мастерски. Через две недели в скромной квартирке Николая Петровича и Зинаиды Павловны шумная компания встречала Новый год.

Когда пробило 12 часов, все встали с бокалами дешевенького шампанского. Начались поздравления и пожелания всякого рода.

— За возрождение России!

— За свидание с нашими близкими!

Набравшись духу, Зинаида Павловна провозгласила:

— За возвращение нам родовых имений!

— О, да, да! За прежнюю хорошую жизнь, привольную и беззаботную! — хором поддержали ее дамы.

Две мещанки, преображенные волей детей в аристократок, строго смотрели со стены. На голове одной из них красовалась шляпа с большим страусовым пером.

## ПОСЫЛКА

### I

«Дорогой Юра!

Господь Бог оставил меня: отнял у меня Павлика. Только что вернулась с кладбища. Бушует вьюга. Трудно было рыть могилку, куда опустили белый гробик. Холодно моей крошке сейчас, но и мне не теплее. Велела затопить камин, легла у самого огня, на шкуру белого медведя. Помнишь, — любимую Павлика! Он всегда совал в пасть чучела ручонку и «рычал», грозно вращая глазами.

Как жесток Бог . . . если он есть на самом деле. Я перестала верить. Не могу. За что он лишил жизни ребенка? За что наказал меня, такую религиозную, всегда Ему послушную? Назло не перекрестилась ни разу во время отпевания; будут теперь шушукаться кумушки — вот так святоша! Кончено! Ни о чем не буду больше просить ни для себя, ни для мужа — пусть в душе моей будет такой же мрак и холод как на этом кладбище, где я оставила свою крошку.

Снег все валит и валит. Через неделю Рождество. Всюду будут ёлки, в самых бедных семьях будут гореть свечки: розовые, голубые, красные.

Боже! как любил Павлик эти витые свечки, как

сияли его глаза при виде их... сам был как свечка, и как свечка погас. Юра! понимаешь ли меня?

Какой холодный и сдержанный мой муж. Никакой моральной поддержки! Никакой! А может быть и он страдает, только скрывает? Если бы страдал, не ушел бы на службу; остался бы со мной и сейчас мы оба были бы здесь, перед этим огнем, на этой шкуре, любимой нашим сыном.

Денщик на кухне что-то бормочет сам с собой и звенит посудой — готовит, вероятно, ужин. Как будет странно сидеть за столом с корректным капитаном, застегнутым на все пуговицы. Ах, я несправедлива, ужасно как... Наверно он ушел потому, что не может, не умеет, утешить. И как можно утешить в таком ужасном горе? И почему непременно меня утешать? Потому что женщина, мать?.. А отец?..

Да, я несправедлива к нему. Он любил Павлика не меньше меня. Он измучился за эти недели, когда мы отчаянно боролись за жизнь ребенка. Когда Павлика перенесли в столовую и положили в гроб, Андрей запер детскую и сказал глухо: «Кончено». Я не видела его лица, потому что он отвернулся, но я не могу забыть этот зловещий тон. Да, кончено. Были смех, радость, веселье, — пять лет безоблачного счастья.

Дом звенел, каждая вещь в этом доме жила красивой осмысленной жизнью. Ничто не оставалось в покое, все было тронуто, исследовано, пытливым «Робинзоном», как мы называли Павлика. Всюду влезал, отовсюду падал и разбивал в кровь

нос и локти. Вечно вымазаны были ладони и коленки, и я недоумевала: откуда он набирал столько грязи в нашей чистой квартире? Кто-то метко назвал его «пылесосом», не помню кто . . .

Как стала пуста жизнь! Если бы хоть остались эти стоны, этот запах лекарств, эти бессонные ночи, этот скорбный голосок: «Мама, мама, пить», «Сними одеяло, мама, оно давит». Или, в бреду: «У папы блестящие погоны, но у папы не блестят пуговицы — Миша не почистил, забыл», «Я уже большой и надену шпоры — без шпор нельзя уехать далеко». И опять: «Пить, пить . . .»

Ах, какие негодяи врачи! Ведь могли спасти ребенка, если бы сразу отнеслись серьезно. Сколько нам стоили эти консилиумы, и как я возненавидела эти белые халаты, эти глубокомысленные «Н-да . . .»

Как я страдаю. Мне хочется распахнуть окно, стать в нем, и пусть на меня валит весь этот снег с бессмысленных небес. Пусть валит и засыплет меня всю, как засыпал могилку Павлика.

Юра! Если я . . . умру . . . ты непременно приезжай на похороны. Пусть Андрей, на вид, холодный и неприступный, — он будет слишком несчастен и один. Не обращай внимания, что он старше тебя — подойди к нему, обними и приласкай. Сделай то . . . что он должен был сделать и чего не делает — в отношении меня. Оставил одну и ушел, ушел на службу. А на кладбище полковник сказал, я сама слышала, «Идите домой, будьте с ней» и еще что-то, чего не расслышала. А, может

быть, что-нибудь спешное его заставило уйти; был какой-то звонок по телефону.

Сделала перерыв. Ходила в спальню Павлика. Как там холодно, безжизненно и какой страшный запах: чем-то затхлым ударило мне в лицо.

А где-нибудь в углу застрял его вздох, не успел уйти, ведь их было столько, столько за эти недели. А сколько смеха звучало раньше в этих стенах! Кровать его пустая, и в белом гардеробе столько красивых вещей — целое богатство! Я каждый день что-нибудь прикупала. А игрушки? Все свалено в угол, одно на другое, как на свалке.

Юра, можно вам прислать все это? Можно? Ну скажи, милый, что да! Пусть твой сынишка продолжает жизнь этих осиротевших вещей. Твоя жена писала, что у Вани нет ничего: ни кровати, ни одеяла, ни шубки, ни белья. Вот теперь ему приданое будет . . . Пусть оживет все снова, пусть греет, пусть радует. Только одна просьба: когда мы встретимся на ёлке у наших, пусть на Ване не будет ничего из вещей Павлика. Хорошо? Я хочу его любить, а тогда . . . мне кажется, я бы его возненавидела. И когда все порвется не бросайте в мусорный ящик. Затопите печку и сожгите . . . И кроватку не продавайте — сожгите.

Ну, кончаю. Слышу звон шпор, глухое покашливание. Это Андрей. «Барыня дома?» И Миша: «Они уж горюют, горюют, ваше благородие, убиваются совсем». Милый переводчик моего страдания: «горюют горюют», деревенский парнишка с чуткой душой.

Тебе не кажется, Юра, что у них, у мужиков, все чувства лучше, свежее? Андрей идет сюда. Кончаю, целую. Твоя сестра Валя».

## II

Все вещи Павлика были тут: кроватка на которой он метался в бреду и откуда неслось скорбное «Мама, пить, пить!», одеяльце, которым Валюша укрывала его и которое он сбрасывал поминутно — «жарко», — подушка, на ней покоилась его головка с пунцовыми от жара щеками и серо-желтыми, когда от них улетела жизнь. Его барашковая шубка, штанишки . . .

Валюша сунула в штанину руку — ей показалось, что тонкое сукно еще сохранило тепло его смуглых ножек . . . А вот в этой рубашке он заболел; нет, ее не отдаст, сохранит на память. В этой — умер; тоже не отдаст — кощунство. Все рубашечки прижимала к груди, словно надеялась услышать биение маленького сердца. Его шапочка с наушниками будет защищать от холода другого, которому все это достанется в подарок. У племянника Вани нет ничего, то-то будет радость, когда придет посылка. Она не сомневается, что может быть иначе. Бедные люди, и вдруг такое богатство, наследство! Наследство всегда сопряжено со смертью, однако это одно из самых чудесных и приятных сочетаний слов: «Получили наследство. Какие счастливцы!» Что у богатой «счастливой»

наследницы умерла единственная радость жизни, воспитавшая ее тетка — об этом никто не думает. Родители... у людей не хватает смелости поздравлять с наследством, но тетка, дядя, кузен — туда им и дорога!

Подразумевается что тетка была, непременно, стара, скупа, деньги прятала в шерстяной чулок и жила слишком долго — заедала чужой век. Дяди тоже обычно кончаются где-то в Америке, многие из них — жестокие эксплуататоры, бьют на плантациях полуголых полуголодных негров. Нет! таких не стоит жалеть! Сделал свое дело — нажил миллионы, и пусть эти миллионы плывут в Европу, — на радость молодым племянникам.

И сколько раз Валя сама повторяла эти дурацкие слова: «Вот какая им удача — получили наследство». Катя, жена брата, наверно, напишет своим: «Этакое счастье нам привалило — Ваничка получил в наследство столько вещей!» А Катины «свои» вздохнут облегченно: «Ну, слава Богу!»

Слезы падают на тонкие батистовые рубашечки. «Мальчик мой дорогой, незабвенный».

Слуга Миша смотрит с состраданием на плачущую барыню. Вот и он украдкой смахнул слезу. Муж Валюши хмурится, крепко сживает зубы; возится с соломой, с веревками — заворачивает каретку для прогулок. Ему бы тоже заплакать по-бабьи, с причитаниями! Вот бы облегчилась душа, разжалось конвульсивно сжатое сердце.

Эта сжатость не отпускает его со дня похорон, или нет — с того момента, когда заколотили бе-

лый гробик. Вот тогда — при первом ударе молотка — гвоздь вонзился и в дерево и в его сердце. Гвоздь... потом другой, третий... много! Он уже не помнит, сколько. С тех пор колет, сжимает и невозможно свободно вздохнуть... Избавиться бы от этого израненного ненужного органа!.. Валюша... да... и, может быть, еще другой ребенок, — в будущем, — но Павлик был один, неповторимый, с его пытливым жадным взглядом, с его расспросами, с его... Не надо думать! Надо завернуть кровать. — Миша, а ну давай, поставим ее вверх ногами, вот так. Отлично. Валюша, что ты там закопалась?

Его рука легла на плечо жены — надо подбодрить ее. Миша деликатно скрылся из столовой. Андрей машинально шепчет, прижавшись небритой щекой к мокрой щеке жены «Не плачь! не плачь», а сам смотрит на разложенный костюмчик — мысленно добавляет к нему руки, ноги, голову... Костюмчик ожил, зашевелился... Михаил, черт возьми! куда ты исчез? Весь день втроем возимся, и ничего не уложено.

Слуга вернулся; в руке веревка и кухонный нож, вид как у убийцы; невольно вздрогнули и на миг его не узнали; инстинктивно испугались за жизнь... только инстинктивно... Какая жизнь в этих пустых стенах, где не звучит больше Павлушин смех? Пять лет дом звенел и вдруг... хлоп! — тишина... Где-то на кладбище вырос крошечный бугорок; там закопали они свое звенящее счастье.

Лишь к полуночи все было упаковано к отправке: четыре больших тюка — весь мирок Павлика.

### III

Вернувшись вечером с работы Юрий не узнал свое бедное жилище: единственная их комната превратилась в детскую. Даже не сразу понял в чем дело, — точно не туда попал. Первым движением души была радость. Радость придавленного бедностью человека, неспособного самостоятельно дать семье самое необходимое. У Вани нет кроватки — ему тесно в коляске, должен спать всегда на боку, с согнутыми коленками. Каждый день замученная жена что-то стирает, сушит на протянутой над плитой веревке.

— Зачем ты все стираешь? — недовольно спрашивает муж. — Только сырость разводишь.

Она смотрит на него молча, долго и с укоризной, наконец вспыхивает:

— Для удовольствия, что ли?! Две рубашки у ребенка, одна смена всего. Вот и надо — каждый день!

И сейчас же непокорные слезы наполняют ее глаза, стекают по бледным щекам; не найдя платка, она их вытирает прямо рукой. От кокетливой барышни не осталось и следа: тонкие руки конторской машинистки, смеющиеся глаза невесты — ушли. Бедность! На столе не скатерть, а клеенка;

к хлебу не масло, а пережаренное сало; единственное блюдо в обед — суп. Мясной — только раз в неделю, а вообще в нем много картошки, бураков, капусты, от чего ее стройная фигура превратилась в бочку. Живот — словно беременна и не на что купить корсет, да и к чему? — весь день мышиная беготня в четырех стенах — за водой вниз к колодцу по витой лестнице. По воскресеньям — дешевая пудра на щеки, и втроем в церковь. Там — знакомые люди их прихода, немногие друзья.

На Ванечку все смотрят с восторгом: «Чудный ребенок, здоровый — в таких условиях!» Родители сияют: «Да, он у нас молодчина!» Из-под белой шапочки смотрят большие карие глаза. Высокий лоб, гладкие шелковистые волосы цвета спелой ржи. Кожа белая — тип безусловно славянский. Страшный разрушитель! Вчера утопил в ведре с водой материнскую шляпу. Дешевая соломка раскисла, фасон деформировался. «Лето придет — нечего надеть, ну да!! . — она машет беззаботно рукой. Говорить о Ваничке — ей одна радость. Что бы ни сделал — все хорошо, все смешно. «Только страшно: влезает на стол, снимает вещи с этажерки — как бы не упал! Все время нужен за ним надзор».

Молодые родители праздничны, нарядны; сразу видно что это воскресенье, день отдыха от вонючей дымной конторы, а дома ждет, рано приготовленный, суп с мясом — воскресный. За день отец с сыном знакомятся (в будни ребенок отвыкает — спит когда Юрий возвращается). Играют в

«лапки», склоняются над кубиками. Светлые, материнские, волосы сына и черные отца — смешиваются. В праздничные дни не так заметна бедность и родители дружны, не ссорятся.

Этот вечер, когда Юрий обнаружил столько прекрасных и полезных вещей, был будний, но ему почудилось будто это вечер рождественский. В детстве он верил в деда-мороза, на миг поверил в него снова. «Сестра . . . Павлик?» — не сразу дошло до сознания — налицо было чудо: стояла белая кроватка с сеткой по бокам, атласное одеяльце вишневого цвета; изящная каретка для прогулок, трехколесный велосипед, огромный яркий мяч, на кровати плюшевый медведь, а на столе множество каких-то фартучков, рубашечек, штанишек . . . А Ваня! . . Какой прекрасный ребенок! невозможно оторвать глаз! Храбро сидит на лошади-качалке, держится за ее уши и воинственно кричит: «Пошел, пошел быстрей!

У жены счастливое лицо, щеки горят натуральным румянцем. Еще бы — весь день возилась, все вынимала, охала, позвала соседок — похвастаться . . .

Ей приятно было наблюдать, с какой завистью соседкины глаза перебегали от предмета к предмету, с какой жадностью их руки прикасались к тонкому белью, к дорогой шерсти, к меховой шубке . . . Каждая соседка в свое время «допекла» ей чем-нибудь — теперь сводились мелкие женские счеты . . . Зачарованные глаза соседкиных детей не отрывались от красивых игрушек. Катя брала их

за руки, подводила к сыну, поощряла: «Поиграйте с Ваней, поиграйте!» Но дети убегали и испуганно прятались за материнские юбки. «Что с ними?» — недоумевала Катя.

Дети были маленькие и объяснить сами не умели, но одна соседка, особенно завидовавшая Кате, прошипела:

— Обыкновенная история: у детей, как у зверей, есть инстинкт. Теперь ваш Ваня «богат» и бедным детям внушает робость.

— Почему же робость? — не понимала Катя.

— Так всегда — робость, — согласилась другая,— у взрослых сознательная, а у детей инстинктивная.

Катя в таких тонкостях не разбиралась, поэтому пожала плечами, не возражая. Сама она робости, когда встречалась с богатыми, не испытывала, только завидовала, впрочем это была даже не зависть, а желание, жгучее желание, иметь все то, что имеют другие.

Один мальчуган все же расхрабрился и сам подошел к Ване. Сначала он только покачивал лошадь и Ваня восторженно хрюкал, потом стал дергать за хвост, и Катя кинулась защищать игрушку. Мальчик с деловитым видом стал все осматривать, потом подошел к Ване и зашепелявил:

— Теперь я.

Так как Ваня не желал слезать, мальчик попытался его спихнуть, что ему не удалось, потому что Ваня обхватил шею лошади руками. Озадаченный мальчик уже возвращался к матери, когда

его взгляд наткнулся на что-то большое и яркое. Это яркое было прекраснее всего и он немедленно завладел им. Его радостный крик огласил комнату.

Ваня был слишком мал и не понимал, что начался грабеж его имущества, но Катя замерла. Соседка, собираясь уйти, пыталась отнять у ребенка мяч, но он защищал его изо всех сил. Чем больше мать его шлепала, тем сильнее он прижимал к груди игрушку. Катя сказала упавшим голосом:

— Пусть играет пока, потом отдадите.

— Вот еще, — злобно сказала женщина, вырывая мяч и возвращая его сконфуженной Кате, — продырявит или еще что и потом отвечай за дорогую игрушку. Нет, это нам не по карману.

Она увела ревущего ребенка, а за ней ушли и другие.

Радость Кати немного померкла, и чтобы ее оживить она села писать письмо сестре. Писала долго и с большим подъемом. Когда муж вошел, она оборвала письмо на полуслове, так и отправила, забыла докончить.

Родители замучили ребенка. Весь вечер его переодевали, словно манекеншу. Когда все было продемонстрировано, уложили в кроватку совсем сонного. Теплые ручки были как из ваты и глазки полузакрыты и он уже не мог полностью выговорить папа, мама, а сказал «пама», что их особенно умилило...

Катя была нежная и ласковая, прижималась к

мужу в темноте и по порядку рассказывала про впечатления этого замечательно счастливого дня.

⁂

В чужой далекой стране сестра Кати читала своему мужу ее письмо:

«Ты не можешь себе представить, до чего я счастлива, что у ребенка есть столько хороших вещей. Мы никогда не могли ему купить самое нужное и было больно до слез видеть ребенка чуть ли не в лохмотьях. А теперь . . . постель как у маленького принца, одет как куколка. Разве это не доказательство, что Бог существует, что печется о бедняках, если только в Него верить и Ему молиться? Прямо точно с неба упало все это . . . в такой момент, когда казалось что неоткуда ждать помощи.

Беднота, мрак, равнодушие людское измучили нас, ослабили энергию, но Бог . . .»

В конце письма была короткая неоконченная фраза: «Все это нам прислала сестра мужа, у которой умер ребе . . .»

## ПОДАРОК

Ольге Николаевне не работалось. Она ждала обеденного перерыва, чтобы навестить мужа, который жаловался утром на боль в горле.

— Ни в коем случае не иди на работу! — умоляла Ольга Николаевна. — Полежи денек и пополощи горло перекисью водорода. В 12 часов я забегу, если будешь чувствовать себя хуже — вызову врача.

Она приложила ладонь к его лбу, облегченно вздохнула и сказала:

— Жара, пока, нет. Так обещаешь, — лежать в постели до моего прихода? Обещаешь?

Ее глаза с материнской нежностью глядели в его — смущенные и как бы виноватые. Она это заметила.

— Ты, Коленька, не смущайся. Ну, потеряешь три тысячи франков, как-нибудь без них обойдемся. Главное — не запустить болезнь.

В предутреннем свете ее озабоченное лицо показалось ему старым и бесцветным, но вот она открыла одну коробочку, другую, мазнула тут и там, и оно стало на десять лет моложе. «Фальшь, фальшь, — думал он с невольным отвращением, — Кира не красится, совсем не красится, а как

прекрасны ее бледные щеки и губы, и как оригинальна седая прядь ее волос».

Кира. Он встретил ее немного поздно, или вернее слишком рано связал себя вот с этой, потому теперь должен лгать и обманывать. Вот и сейчас: как только закроется дверь за этой, сейчас же другая войдет сюда, и сумрачный день покажется солнечным, а скромная квартирка — роскошным дворцом! Она повернет в двери ключ и, бесстыдная и желанная, будет медленно скидывать одну за другой оболочки... Когда все покорно ляжет у ее ног, она с победоносным криком кинется в его объятия, и из черных ее волос во все стороны посыплются шпильки и гребешки.

***

В мастерской Ольга Николаевна все путает: правый рукав вшила в левую пройму, пояс прострочила хуже любой „petite main". Премьерша ее упрекает, помощница смотрит с недоумением, другие мастерицы ехидно улыбаются. Она оправдывается:

— У меня муж заболел. Я, фактически, не должна была оставлять его одного, у него, может быть, повысилась температура...

Женщины смеются.

— Он у вас деликатненький, — иронизирует премьерша, — чуть что, сейчас же в постельку!

— Вы распустили вашего мужа, — присоеди-

няется другая. — Нехорошо так, мужчины этого не ценят.

— Мужьям надо ставить рога, и чем развесистее, тем больше им к лицу! — объявляет безапелляционно красивая блондинка.

— У вас в этом отношении большой опыт, — отвечает Ольга Николаевна.

Блондинка вспыхивает.

— Прошу, без намеков. Я рассуждаю „en principe".

***

— Кира! Нет ли здесь Киры? — влетает в мастерскую хозяйка. Нужно к одиннадцати отнести заказ г-же Гарц.

— Эта ваша протеже, — шипит премьерша, обращаясь к Ольге Николаевне, — могла бы уже десять раз вернуться из магазина.

— Она плохо знает город, — оправдывает ее Ольга Николаевна, — может заблудиться.

И обращаясь к хозяйке:

— Я могу отнести этот заказ; кстати забегу взглянуть на мужа, он что-то нездоров.

— Вы мне нужны! — протестует премьерша.

— Идите! — распоряжается хозяйка.

Ольга Николаевна передавая свою работу помощнице, говорит:

— Вот тут переведите линию, тут прострочите, удлините подол на два сантиметра.

Выйдя на улицу берет такси за счет хозяйки, и

с наслаждением откидывается на мягкие подушки. О если бы быть богатой, как другие, но ни она, ни муж не способны «делать дела». Он — рабочий на заводе, она — посредственная портниха, так и будет до конца жизни. Но стоит ли роптать? Разве она не любит этого немного ленивого, немного эгоистичного человека? Он не очень умен, но зато честен и большой домосед. Флегматик. К женщинам отношение чисто товарищеское, только вот с Кирой, как будто, не все просто. «Не надо забывать, что он значительно моложе меня. Если даже увлечется, надо понять, надо простить и . . . уйти? Не надо думать о таких вещах! Не надо думать . . . Пока я счастлива, должна наслаждаться моментом, на будущее — закрывать глаза».

Сдав клиентке заказ, она быстро мчится домой. На условный стук — никакого ответа. Может быть заснул? Она зовет, приложив губы к замочной скважине:

— Коля! Это я, Ольга, открой! Ко-ля!

«Спит, наверное спит!» Она спускается вниз. Выходит на улицу. Лавки еще открыты, а она получила хороший pourboire. Что бы купить на эти неожиданно свалившиеся деньги? Что-нибудь такое, что обрадует мужа.

Переходя улицу она смотрит туда, где среди множества окон затерялось окно их столовой. За тюлевой занавеской мелькнул чей-то силуэт, мелькнул на одну секунду. Это, конечно, ей показалось . . . Когда Коля смотрит в окно, он всегда

отодвигает занавеску и, конечно, увидев ее, он бы ее позвал.

Она задержалась перед витриной кондитерской. Какие запахи! Надо выбрать что-нибудь повкуснее.

С покупкой в руке направляется к дому и... оттуда, оглядываясь боязливо во все стороны, выскочила Кира. Увидев Ольгу Николаевну, остановилась в замешательстве.

Обе женщины смотрят друг на друга беспокойным пытливым взглядом.

— Кира! Вы были там... внутри?

— Нет, нет, Ольга Николаевна, я не была... внутри...

— Где же вы были?..

Вопрос бессмысленный, и на него нет ответа. Кира не может его найти, — она еще мало жила на свете, на этом лживом свете...

***

Николай лихорадочно метался по спальне, подбирая шпильки, гребешки, надушенный платок, забытый Кирой шарф. Когда жена опять постучала, он не сразу ей отворил.

— Qui est là? — спросил недовольным тоном.

В лицо ей пахнуло духами Киры и ее папиросами, хотя в спальне было широко открыто окно.

— Как себя чувствуешь. Коля?

Он опустил голову.

— Да так... неважно.

Она поставила на стол коробку с пирожными таким жестом, словно возлагала на могилу венок.

Не глядя на него, сказала:

— Я встретила Киру.

Николай молчал.

— Она была у тебя.

Тогда, теряя голову, он сказал вызывающим тоном:

— Ну да, была, так что ж?!

Несколько мгновений она созерцала его, словно его взвешивала и измеряла.

— Я тебя не упрекаю, я только констатирую факт.

— Ты могла бы молчать. Ты старше меня... Ты могла бы простить...

Подойдя к нему и беря его руки в свои, она сказала грустно:

— Я прощаю тебе от всего сердца, и ни на минуту не забываю, что ты моложе меня. Но не в этом дело. Если ты любишь Киру... ты должен серьезно проверить себя...

— Я ее люблю. Я себя проверил.

Из ее груди вырвался стон, но овладев собой, она продолжала:

— Послушай меня, не отталкивай! Такое чувство надо подвергнуть длительной проверке. Я постараюсь забыть, что я твоя жена, мы прекратим на время наши супружеские отношения. Живи со мной, как с сестрой... один год... только один год! Через год, если ты не разлюбишь Киру, я уступлю...

Это предложение его устраивало, и он сказал почти весело:

— Согласен, как всегда, последовать твоему совету. Ты старше меня . . . опытнее . . . умнее . . .

**
*

Кира не знала о заключенном между супругами соглашении. Трусливая от природы, она удивлялась, почему Николай перестал остерегаться. Раньше они вместе собирали ее шпильки по всем углам, а теперь он спокойно сидит в кресле, а она ползает на коленях, вылавливая, вместе с пылью, из-под комода закатившуюся туда брошь. Дуя на запачканные руки, она сердится:

— Она не только старая, но еще и неопрятна.

— Неправда! — вспыхивает Николай. — Она очень опрятна!

— А почему у вас столько пыли?

— Это вина уборщицы.

— Ах да, я и забыла, что у вас есть уборщица. Ты вообще не очень широк, но когда дело касается законной супруги . . .

Он недовольно морщится.

— Что тебе нужно? К чему эти упреки?

Их глаза скрещиваются словно шпаги, и теперь она первая идет на мировую.

— Ну, не будем ссориться из-за пустяков.

«Она боится меня потерять», — думает он самодовольно, и от этого чувства рождается пренебрежение к ней и усталость от ее объятий. Фразы:

«Посиди, Кира, спокойно!», «Дай мне докурить папиросу», «Подожди, я допишу это письмо», все чаще стали входить в обиход. И в то время, когда Ольга Николаевна усталой походкой возвращалась домой, сознательно замедляя шаги, чтобы «та» успела уйти — Кира несмело спрашивала ее мужа:

— Нико, ты хочешь, чтоб я завтра пришла?

— Завтра . . . завтра . . . — тянул он лениво, пока она стояла перед ним, как служащая перед шефом, — да, пожалуй . . . да, конечно . . .

Она с благодарностью кидалась ему на шею, а он в это время защищал рукой свой галстук, чтобы она не помяла его.

А когда входила жена, он с симпатией и сочувствием смотрел на ее усталое лицо.

— Оля, ты опять запоздала. Я уже начал было беспокоиться.

Ее глаза — единственное красивое в ее лице — вспыхивали радостью.

— Я шла медленно . . . очень медленно, — шептала она смущенно.

— Почему? — не сразу понял он, а поняв, густо покраснел.

В день ее рождения, когда ей исполнилось сорок пять лет, она с печальными мыслями брела домой. Старое, совсем старое, было ее лицо и жутко трагическое из-за наложенной на увядшие щеки краски. Она остановилась перед витриной кондитерской и стала рассматривать трубочки с кремом, которыми продолжала баловать своего невер-

ного мужа. А ее любимыми были лодочки с каштановой начинкой. Хотела войти в магазин, но вспомнила, что свой день рождения она ни разу, со дня свадьбы, не справляла (не смела справлять, чтобы лишний раз не напоминать мужу об ее возрасте).

Когда подходила к дому, столкнулась с Кирой. Обе вздрогнули, шарахнулись в сторону, потом машинально протянули друг другу руки. Ольга Николаевна первая овладела собой.

— Я вас давно не видела, — сказала она вежливо. — Как вам работается на новом месте?

— Неплохо. Спасибо . . . — выдавила Кира.

И опять замолчали, но никак не могли расстаться. Были похожи на мух, попавших на клейкую бумагу. Делали жесты усилия, нелепо надеялись что вот-вот отклеятся, улетят и еще больше прилипали. Входившие в дом толкали их, а они не сторонились и смотрели друг на друга невидящими глазами. Ольга Николаевна думала, что сегодняшний день ее рождения совпадает с днем, когда она должна задать роковой вопрос мужу и, быть может, уйти от него безвозвратно, уступив место той, которой посчастливилось родиться на четверть века позже.

А Кира, словно кошмарный сон, переживала свою встречу с любовником. Он не пустил ее дальше передней, но она успела увидеть в щель приотворенной двери в столовую украшенный цветами стол.

— Вы ждете гостей? — спросила она.

— Да... нет!.. Сегодня день рождения Ольги, — пробормотал он смущенно.

— Ольги?! Ты справляешь день рождения Ольги!! — удивилась она.

— А почему бы нет? Она моя жена... и я думаю, что это вполне естественно...

Он уже овладел собой, стоял перед ней как перед чужой женщиной, и смотрел без всякого сочувствия на ее похудевшее лицо. Наконец выдавил:

— Ты была больна, Кира? Я получил твое письмо, но не мог навестить тебя, сам был нездоров.

Ей хотелось плакать и кричать, забросать его упреками, но она сдержала себя, боясь окончательного разрыва, хотя, фактически, от прежней их интимности осталось только обращение на «ты». Она, как и Ольга, заняла выжидательную позицию, наивно думая что его опять потянет к ней.

Кира сидела на сундуке в передней, а он, не зная как от нее избавиться, стоял перед ней и курил папиросы одну за другой. Наконец сказал, положив ей руку на плечо:

— Иди, Кира, домой и ложись в постель. У тебя очень усталый вид, к тому же нехорошо будет, если Ольга застанет тебя здесь.

Она поднялась и, не глядя на него, вышла. Но тотчас же раскаялась, что поступила с ним «слишком строго». «Слишком строго? А это что? А это? А это?» — Оскорбленная память выбрасывала из

мозговых клеточек все, что накопилось в них против Николая. Но сердце выступило с горячей защитой в пользу обвиняемого. Оно, как не совсем честный, но талантливый адвокат, вывернуло все наизнанку, показало все в ином свете, и в конце концов его оправдало.

Теперь уже у Киры нет другого желания, как извиниться перед Николаем за «слишком строгий» поступок. «Не извиняйся», — советует ей разум. «Извинись!» — приказывает сердце. И Кира вернулась и позвонила.

Николай не сразу открыл дверь.

— Ты что-нибудь забыла? — спросил он, не впуская ее.

— Да . . . я забыла . . . попрощаться с тобой . . .

— Это лишнее! — кинул он, словно хлыстом ударил и быстро и решительно закрыл дверь.

Грубый и жестокий ответ поразил ее своей неожиданностью. Она опустилась на ступеньки лестницы и просидела там довольно долго. Потом вскочила и, не оглядываясь на дверь, куда она столько раз победоносно входила, побежала, как шальная, вниз по лестнице и . . . наткнулась на Ольгу.

***

Думая каждая о своей драме, Ольга Николаевна и Кира вздрогнули и устремили глаза на лестницу. Где-то наверху хлопнула дверь . . . кто-то спускался, почти бежал . . . кто-то. в чьих шагах чувствовалась тревога . . . Еще момент, и между

ними стал тот, из-за которого они обе страдали. Две женские головы опустились, словно под нож гильотины... два сердца замерли, почти перестали биться.

Не глядя на Киру, Николай сказал:

— Ольга, у тебя нет совести! Ты тут стоишь, а я уже бежал в полицейский участок заявить о твоем исчезновении.

Она задохнулась от нахлынувшей на нее радости, а он продолжал:

— Ты опоздала *на целый час!* А ведь сегодня день твоего рождения.

Взяв ее под руку, он направился с ней вверх по лестнице. Крепко прижимая ее локоть к себе, он шепнул ей на ухо:

— Все кончено с Кирой... кончено! Ты довольна?

— О!

— Это тебе подарок ко дню твоего рождения.

# КРЕСТ

У Лялиной матери были большие способности к литературе, но бедность, раннее замужество, заботы о детях помешали этим способностям развиться.

Когда дети подросли, мать иногда предлагала:

— Надя, хочешь я тебе прочту свои стихи, которые недавно сочинила?

— Нет, мама, я стихов не люблю, меня интересует живопись.

— Ну да, ну да, — смущалась мать, — я это так ... несерьезно ... стихи, конечно, дело не серьезное ... Вот еще повесть, роман, — это как-то солиднее. Я тебе могу прочесть свою повесть ... Нет, нет, не бойся, не сейчас! Когда-нибудь, если у тебя будет время, — поспешала она добавить, видя как вытягивается лицо дочери.

— Да, да, мама, когда у меня будет время, я тебя сама попрошу прочесть «эту» твою повесть. Это, должно быть, нечто длинное ... длинное ...

— Нет, это скорее большой рассказ ... час времени ...

— Ну, вот видишь — *целый час!*

Мать шла на кухню грохотать посудой и странно прозрачны были ее глаза, словно стояли в них слезы. Было бы смешно плакать из-за такого пус-

тяка... было бы совсем несолидно. А Надя со своим художеством протурчала всем уши! Но это верно, что она прекрасно пишет свои картины, в особенности портреты. Например, ее портрет, после одной из сцен, когда Юрий и Маша, обещав послушать «что там мама пишет», умчались на каток.

С тетрадкой в руках, мать вошла тогда в столовую, села поблизости от рисовавшей Нади (надеясь, что и она заинтересуется), торжественно открыла тетрадь, прочла несколько строк первой страницы и, вдруг, Маша вскрикнула, обращаясь к брату:

— Юрик! Ты забыл взять свои коньки у Саши! Беги скорее за ними, я, пока, послушаю «эту» мамину повесть. Ну, мама, я в твоем распоряжении. Только читай быстро, мы сегодня с Юриком такое на катке отпляшем, что все ахнут! Надя, придешь посмотреть?

— Что смотреть! Вот когда пройдет мой вывих, я вас обоих переплюну!

И вдруг вскрикнула:

— Мама! Какие у тебя сейчас странные, странные глаза... Я ничего прекраснее не видела! Садись скорей, вот тут... вот так... такой портрет мне может принести славу! Ты будешь гордиться мной, ты будешь гордиться собой, что родила меня.

— Не лезьте сюда, мелюзга! — крикнула она на восьмилетнюю Лялю, прильнувшую к плечу

матери, и на шестилетнего Павлика, ставшего впереди «модели».

Надя мазнула ему нос краской и попыталась дотянуться до носа Ляли, но та отскочила.

— А вот и не мазнула! А вот и не удалось! Иди, Павлик, иди, я тебя отмою.

Выражение материнских трагических глаз изменилось, но талантливая дочь успела его зафиксировать на полотне.

— Спасибо тебе, мама, ты мне больше не нужна, ты мне даже мешаешь.

Мать молча отошла к младшим детям, погладила две светлые головки и поспешила на крик грудного младенца.

«Что дадут мне младшие, кроме огорчений и равнодушия?» — думала безрадостно, покачивая люльку. «Но Ляля шептала, что она еще лучше нарисует мать, и Павлик обещал...» Она не поняла что, потому что грезы Павлика были еще совсем, совсем неясные.

— Маша! — крикнул Юрик влетая. — Бежим, бежим!

Черная тетрадка лежала грустно и одиноко на столе...

***

Теперь Ляле уже двенадцать лет. Она хорошо рисует и уже что-то бродит в ее детской голове, какие-то рифмы, отрывочные фразы...

— Ты, быть может, будешь поэтессой, как и я,

но... уж не знаю, радоваться ли мне, или печалиться? Если твой талант будет одиноким, непонятым, обреченным как мой, тогда это тяжелый крест.

— Что такое обреченный талант?

— Это, как материнство, — вечная забота и мука, больше обид, чем радости.

Нет, Ляля еще не понимает. Напрасно мать торопится объяснить ей свое неизжитое горе. Четверо старших — это чужие люди; четверо младших — нелепая надежда на что-то, чего, быть может, не бывает на свете, но это «что-то» урывками, между кухней и пеленками, излагается на бумаге и... не читается никогда никому. Если даже собственные дети не хотят слушать, жалеют посвятить ей час времени, как же кто-то чужой примет ее? Не стоит и пробовать, чтоб не было конфуза, чтоб не было боли, если сухо и коротко скажут: «Нет, нет, это совсем не подходит для печати». И потом — к чему? Разве у нее есть время серьезно заняться литературой? Заела ее бедность, вымотали дети, и даже пожаловаться некому. Ляля, быть может, Ляля, когда подрастет, сможет ее понять, захочет прочесть? И мать ждет, как ждала от четырех старших, что из восьми детей хоть одно станет ее настоящим другом. Она мерит глазами подрастающую дочь, надеется и боится, боится, чтоб не разочароваться и в ней.

То-то радость ей, когда Ляля сама попросила:

— Дай прочесть мне твою черную тетрадку.

— Я прочту сама...

Она долго ищет, что годится для детского ума, и потом забывает, что перед ней маленькая девочка, и читает, читает, первый раз в жизни читает.

— Что слышу, мама! Ты нашла себе поклонницу, — насмешливо-ласково улыбается Надя, войдя неожиданно в комнату.

Краска заливает лицо матери, и она умолкает. Ляля смотрит на взрослую сестру серьезными глазами и той делается неловко.

— Ты что уставилась на меня?

— Я думаю, что ты . . . не любишь маму!

— Вот глупая, откуда ты взяла? Наоборот, очень, очень люблю . . .

Она обнимает мать, и той приятна ласка дочери.

— Нет, — говорит серьезно Ляля, — если бы ты любила маму, ты бы попросила ее читать Она бы очень обрадовалась.

— Ляля у нас вундеркинд! — кричит в восторге старшая сестра. — Мы можем заработать на ней миллионы!

Она хохочет, а Ляля хмуро:

— Ты большая, но ты глупая. Я давно это заметила.

— Ляля, так нельзя ! — упрекает мать свою защитницу.

Надя не сердится, ей даже нравятся дерзости Ляли. Она находит это пикантным. Сидя рядом с матерью, она смотрит глазами художницы в суровые детские глаза.

— Вот еще портрет! Две бесплатные модели в одном доме, это же удача!

— Я твоей моделью не буду.

— Почему?

— Потому . . .

— Ну, скажи, почему?

— Послушай сначала мамины стихи . . .

Она берет из рук озадаченной матери тетрадь. Перелистывает одну за другой страницы, что-то ищет . . . Не найдя, спрашивает:

— Мама, где это «Я в жизни, как в тюрьме»?

— На восьмидесятой странице, — тихо шепчет мать.

Девочка читает:

Я в жизни как в тюрьме, окружена стенами.
В окошко узкое струится мутный свет . . .
А ведь и у меня есть крылья за плечами . . .
Но развернуться им, увы! простора нет.
И я . . .

— Что с тобой, мама?! — удивляется Надя. — Почему ты плачешь?

Ляля прерывает чтение. Глаза девочки с упреком смотрят на старшую сестру.

— У мамы тяжелый крест.

— Что?! Какой крест?!

—У мамы есть, в стихах, что талант — это тяжелый крест.

— Я бы не сказала, — пожимает плечами Надя.

— Твой талант не крест! Это мой . . . мой . . . Ты умеешь добиваться, и ты добьешься! . .

— Кто мешает тебе?

— Дети . . .

Лялины глаза встревожены. Мать замечает это. Она притягивает девочку с себе, шепчет:

— Ты первый человек, который заглянул в мою душу . . . Ты первый человек . . .

## ПАША

Перед воротами богатого особняка остановилась бедно одетая молодая девушка. Еще раз прочла адрес, списанный ею с телефонной книги: V. Emélianoff, ingénieur... Ее рука нерешительно потянулась к звонку. В окошко ворот выглянул привратник.

— Вам кого? — спросил он по-французски.

— Господина инженера, — ответила девушка по-русски.

— Его нет.

— Мне все равно, если меня примет madame, — сказала она на авось.

— Madame дома. Но что вы хотите? От кого вы? — сыпались вопросы. — Я не имею права впускать первого встречного.

— Я не первая встречная, — выпрямилась она с достоинством. — Доложите обо мне, добрый человек.

То, что она не сказала ему „Monsieur" подхлестнуло его любопытство. Он высунул голову из окошка и сказал:

— Вы, наверно, из бар... эмигрантка... Вы русская... Я тоже русский, — добавил он с гордостью.

— Я это вижу, — коротко заметила девушка.

— Видите!? — обиделся вдруг старик. — Что вы хотите сказать, что у меня вид такой ... или я плохо говорю по-французски?

— Но ведь вы говорите со мной по-русски, вы только одну фразу произнесли на французском языке, как же вы хотите, чтобы я вас приняла за француза?

— Я этого и не хочу ... Я своей нацией доволен — буркнул старик сердито.

Голова его исчезла и появилась его мозолистая рука, открывающая дверь, а затем — и вся фигура.

Она занесла ногу, чтобы переступить порог.

— Нет, не так быстро, — отодвинул он ее, выйдя на улицу и закрывая за собой дверь.

Оглянувшись во все стороны и убедившись что никакого подозрительного автомобиля поблизости нет, сказал дружелюбнее:

— Теперь мы, барышня, все должны быть начеку. Режут и грабят наших хозяев как в пугачевские времена. И это называется Париж, — сплюнул он сердито, набивая трубку.

Девушка сказала с нетерпением:

— Вы обо мне доложите, или нет?!

Он оглядывал ее со всех сторон, словно ощупывал.

— Да вы не бойтесь, у меня никакого револьвера нет, — сказала девушка, и в доказательство открыла сумку.

Глаза старика шмыгнули туда с любопытством.

— Времена опасные, — сказал он внушительно и впустил ее во двор. Тяжелым шагом он направился к белеющему среди зелени дому, но, оглянувшись, крикнул:

— Вы в мою «ложу» не входите, стойте у ворот.

Пройдя еще несколько шагов, он остановился и вернулся к ней. Протягивая руку сказал:

— Дайте письмо.

Письма у нее не было и она рисковала быть выкинутой за ворота. Но нет! она не уйдет, не повидав хозяйку, быть может, милую молодую женжину, быть может, старую сердобольную, но, может быть, злую, надменную или, как этот старик, подозрительную трусиху. Ее любопытство было задето, она хотела знать, кто живет в этом белом доме, какие там нравы, какие радости и печали.

— Ну, что же вы? — прервал ее думы старик.

— Я вручу письмо сама, — солгала она.

Старик снова зашагал, поминутно оглядываясь на нежелательную визитершу. «Лишь бы не вошла в ложу, — думал он, — там у меня ящик бюро открыт, нетрудно стащить деньги и удрать».

Думая о своей «ложе», о могущих исчезнуть деньгах, он не расслышал, что хозяйка сказала: «Пусть подождет». Вернувшись, чуть ли не бегом, он сказал стоящей у ворот девушке:

— Можете идти.

Она пошла. Ее большие серые глаза с любопытством оглядывали красивые породы цветов. Над одним кустом она задержалась, приближая к

нему лицо, чтобы отличить его аромат от аромата других растений.

— Эй, вы там, не рвите цветов! — услышала она голос привратника.

Выпрямившись, она пошла дальше. Вдруг в желудке ее начались спазмы, и она прижала к нему руки. Однако боль эта, вызванная голодом и болезнью, сковала ее ноги и искривила ее лицо. Такой увидела ее хозяйка.

— Разве я не сказала, чтобы вы подождали... — начала она, но взглянув в лицо девушки, на ее прижатые к желудку руки, она подбежала к ней и, усаживая в плетенное кресло, спросила:

— Вы беременны?

— Нет.

— Больны?

— Да.

Хозяйка осторожно отодвинулась.

— Но вы так молоды... чем же вы можете быть больны?

Откуда-то сбоку появилась другая женская фигура, толстая, неуклюжая, и с любопытством устремила на девушку свои маленькие бегающие глаза.

— Голодная! — поставила она диагноз. — Пойдем, милочка, на кухню, там у меня пирожок есть, и чаю горячего выпьешь.

— Благодарю вас! — сказала пришедшая.

— Не хочешь? Ну, как хочешь. Было бы предложено от чистого сердца. Ты, видно, гордая. Однако, зачем пришла? Здесь не больница, и хозя-

юшка наша боится микробов. Вот как растопырила руки, и глаза напуганные, — толстуха захохотала.

Молодая дама покраснела и сказала сердито:

— Вы, Паша, говорите глупости, вмешиваетесь не в свое дело.

— По доброте сердечной, Мария Владимировна, по доброте: мне эти ваши микробы не нравятся, поскольку они отравляют вам жизнь.

— Mais... taisez-vous! — сказала хозяйка, зная что только французский язык имеет авторитет в глазах ее кухарки.

— Très bien, Madame, — сказала Паша, склоняясь, словно в реверансе.

Визитерша улыбнулась.

— Ты чего зубы скалишь? — повернулась к ней кухарка. — В гости пришла к моей мадаме? Говори, какое у тебя дело? — подступила она, воинственно подбоченясь.

— Я ей скажу, а не вам, — перестав улыбаться холодно ответила пришедшая.

— *Ей!* Нахалка! *Ей*, а не *им*?! *Им*, — говорится по-русски!

— Паша, уйдите! — умоляла хозяйка.

— Да, да, уйдите! — неожиданно для самой себя сказала девушка.

Но не тут то было. Подойдя еще ближе к посетительнице, кухарка отчеканила:

— Мне нельзя приказывать. Я здесь не прислуга.

Симпатичная хозяйка тоже посмотрела на не-

прошенную гостью недовольным взглядом. Та всполошилась: «Перехватила... это, может быть, какая-нибудь тетка...»

Широко расставив ноги, кухарка водила пальцем перед лицом девушки.

— Вы не знаете правил вежливости. Хозяйка, и та знает. Они отдают свои приказания по-французски, а вы, неизвестно кто, командуете мной по-русски. Это невиданное дело, это было в помещичьи времена, а мы, теперь, в эмиграции, мы живем в большой культуре. Тут всем: Madame, Monsieur... Я не прислуга какая-нибудь, а шеф кухни, Cordon bleu. Главное лицо в этом доме, главнее даже консьержа, который как министр сидит в своем бюро. Вы видели это бюро? Это вам не избушка на курьих ножках и не собачья будка — это ложа!

— Вы, Madame Паша, заслуживаете полное мое уважение, — сказала примирительно посетительница. — Я и не думала вам ничего приказывать. Только у меня есть просьба к вашей Madame...

— Просьба? — глаза кухарки зажглись любопытством. — Какая просьба? Скажите мне, а я передам хозяйке.

— Благодарю вас, Madame Паша, я сама могу это сделать. Я не хочу вас затруднять.

Мария Владимировна с интересом посмотрела на посетительницу.

— Я вас слушаю... — начала она.

Паша перебила:

— Вы, наверное, портниха! Нам портниха как раз нужна: у меня только платья, что на мне.

— Я не... — хотела ответит девушка, но словоохотливая толстуха продолжала:

— Вы не брезгайте моей протекцией. Если я попрошу, то, уж будьте уверены, хозяйка вас примет.

— Буду иметь в виду, — сказала дипломатично пришедшая.

Тут Паша вспомнила, что что-нибудь может сгореть в духовке и, потянув носом воздух, всплеснула руками и ринулась на задний двор. Молодые женщины остались одни. Мария Владимировна спросила:

— Вы, значит, портниха? Кто вас прислал?

— Я не портниха, и меня никто не прислал. Я нашла ваш адрес в телефонной книге.

Испуг и неудовольствие отразились на красивом лице хозяйки. Заметив это посетительница поторопилась объяснить:

— Я приехала из провинции. Я не знаю никого в Париже. У меня нет работы, нет денег, нет крыши над головой...

В глазах богатой дамы подозрение.

— Вы сказали, что вы больны.

— Да, в довершение всех бед, я больна.

— Почему не идете в госпиталь?

— Там меня *залечат*, а я хочу жить.

— Ну, что вы! — пожимает плечами дама.

Заметив что хозяйка собирается встать, посетительница говорит, как бы про себя:

— В таком прекрасном теле должна быть прекрасная душа и доброе отзывчивое сердце. Если б

я была вами, а вы — мною, я бы знала как поступить...

— Как бы вы поступили?

— Я приняла бы вас в свой дом, я занялась бы вашей судьбой, я...

Хозяйка перебила ее страстную речь:

— Невозможно принять в свой дом всех, кто хочет в него попасть. Думаете, что только вы нашли мой адрес в телефонной книге? Нам пишут, нам звонят, нас атакуют со всех сторон. Я сначала реагировала, теперь, — она грустно покачала головой, — я перестала вскрывать письма, бросаю трубку телефона, дала приказание никого не впускать. К тому же это стало опасным: на нашей улице было три нападения, — в течение полугода.

Она провела рукой по лбу, как бы отгоняя страшное видение. Глаза девушки не отрывались от ее лица. То, что она услышала, было для нее совсем ново.

— Вы не допускаете, — продолжала дама, — что я могу быть очень несчастной в этом доме, среди этих цветов, в компании этой кухарки?.. На этой глухой улице?

— Я думаю, что я вас поняла, и мне жаль, что я вас потревожила, что отняла ваше время, что поставила вас в неловкое положение, — она встала.

Некоторое время длилось неловкое молчание. Молодые женщины не знали, как прекратить его. Владелица богатого дома не смела отделаться подаянием и с грустью смотрела на потертый кос-

тюм и старые потрескавшиеся туфли соотечественницы.

Тут опять на сцене появилась Паша. Она докладывала хозяйке:

— Не знаю, что мы будем есть. Жаркое сгорело и суп выкипел, — даже кастрюля покривилась. Была бы то русская солидная кастрюля, но здесь все жидкое . . .

— Ничего, Паша, — сказала дама равнодушно.

— Ничего?! Вам все ничего, транжирки вы этакие! То ли скажет Владимир Павлыч, он у нас экономный.

Дама не слушала. Она думала, как помочь этой бедной девушке, не принимая ее в дом. Ее рука играла кистью шелкового халата, стройная нога рисовала носком розовой туфли на дорожке сада.

— Договорились? — спросила кухарка, обращаясь к посетительнице, — и ответила сама себе:

— Не договорились! — обратилась к хозяйке с упреком: — Как же это вы так, Мария Владимировна?! Она бы нам шила . . .

— Я не умею шить, — грустно прозвучал молодой голос.

— Ну и пес с ним, с шитьем! Что-нибудь другое придумаем, — Паша потерла лоб и прикрыла рукой бегающие глаза.

Мария Владимировна постепенно начала удаляться, не смея сразу повернуться спиной.

— Оставьте свой адрес, я вам напишу.

— Я вам придумаю, милашка, что-нибудь, —

сказала кухарка, — а теперь идемте ко мне, у вас, ужас как урчит в животе.

— Нет, Madame Паша, мне не хочется есть. Благодарю вас за доброту.

— Ну нет, я вас так не отпущу. Это не в наших правилах. У нас тут помещичья усадьба, есть чему подивиться. Иди, гордячка, иди... — руки ее в засученных рукавах тянутся к тонкой талии девушки.

Та борется с собой, чтобы с криком не упасть на кухаркину грудь.

— Нет, Паша... Madame Паша... я ухожу, — и она поспешно зашагала в сторону ворот.

Паша догнала ее.

— Иди, милашка, иди, — говорила она, — не брезгай добрым отношением.

Потупив голову хозяйка смотрит им вслед. Вот кухарка прижала тонкий силуэт к кусту розы и что-то говорит-говорит... Привратник вышел из ложи и шагает в их сторону. Он тоже что-то говорит. «Подойти к ним? Вырвать это молодое существо из кухаркиных рук? но что ей сказать? откуда позаимствовать слова, жесты? Она, эта незнакомка, очевидно, из ее круга, может быть, даже выше его, но бедность, но неудачи вырыли между ними *пропастъ*, и теперь она ближе и понятнее этим двум».

Вот ее муж, известный инженер, идет по дорожке сада. Кухарка останавливает его, в чем-то убеждает. Он поворачивает голову, смотрит на девушку, замечает, очевидно, ее красивые серые

глаза, что-то спрашивает. Подходит к девушке, вежливо приподнимает шляпу, жмет ее руку, и она, смущенная, идет рядом с ним к только что покинутому дому. Кухарка и привратник — за ними. Протекция прислуги победила.

— Маша, Mademoiselle Д. позавтракает с нами, говорит муж, — и потом я ее отвезу к Ганецкой. Ты знаешь она всегда одна, и ей, может быть, нужна Dame de compagnie.

— Вы уж, Владимир Павлыч, постарайтесь пристроить барышню. Без протекции она пропадет, — просит кухарка.

— Это честная барышня, — убежденно говорит привратник. Он успел уже пересчитать свои деньги, все оказалось цело, и он готов за нее ручаться.

Девушке неловко, но и Мария Владимировна тоже смущена. Скольких просителей прогнал этот привратник, скольких прогнала кухарка, скольким отказал ее муж, но вот простая женщина увидела голодный блеск в глазах просительницы, услышала «урчание в животе» и совершилось почти чудо: девушка, которой уже было отказано , сидит за столом напротив нее, и ее тонкие пальцы изящным жестом держат вилку и нож, отделяя куски от подгоревшего жаркого.

— Вы уж, барышня, не ешьте с самого краю, там сильнее подгорело, ешьте середину, — учит cordon bleu и смотрит с умилением как ест ее protégée:

Подав сладкое, кухарка тащит телефон в соседнюю комнату. Это спальня ее господ. Она садится удобно в мягкое кресло, прямо на шелковый халат своей хозяйки, водит грязным пальцем по белому циферблату, набирает номер. Щурит бегающие глаза. Никто не отвечает. Она кладет трубку, вытирает пот со лба и начинает набирать номер снова. Марии Владимировне видно ее лицо — скуластое, с узким низким лбом, с двумя жирными подбородками. «В прекрасном теле должна быть прекрасная душа», — вспоминает она слова девушки и думает: «Пашино тело уродливо заплыло жиром, просалилось, чадом прокоптилось и потом пропахло, но уродлива ли в нем душа?»

А Паша, важно захватив в горсть телефонную трубку, говорит:

—Алло, алло! Таня . . . это Таня?? Здесь Паша. Па-ша . . . что ты, оглохла?! . Скажи своей барыне, чтоб приняла . . . ах ты пропасть! . . скажи барыне . . . что есть у меня для нее «дам-компани» . . . Не нужно? . . Что ты, дура, не можешь ей внушить . . . какая ты мне подруга после этого?! Знать тебя не хочу . . . мелешь языком, мелешь, а чтобы доброе дело посоветовать своей мадаме . . . попробуй . . . ну попробуй . . . да, спешно! очень спешно! . . Хозяйка спит? Ну, стукни чем-нибудь, чтобы проснулась, — Паша засмеялась. — Дура . . . вот дура . . . Кто она? Откуда я знаю . . . Человек как человек . . . ручаюсь . . . сама воровка, — понизила Паша голос, — Мне кое-что известно . . . уж ты не ври . . . Ну, так стукни . . . Проснулась? Таня, друг,

устрой эту барышню... Образована... да... умная... приятная в обхождении... ручаюсь!.. и, слышишь? наш консьерж тоже ручается... — она кладет трубку и задумчиво смотрит в окно. Потом опять:

— Алло... Ну что?.. Не берет!? Ах, подлая! — шепчет она в телефон. — Ты слышиш, Таня? Твоя хозяйка, — она шепчет так, что разобрать нельзя.

В трубке слышен смех.

— Ты, дура, не смейся... я расстроена... — Внимательно слушает. — Да уж не знаю, почему... мумия египетская... а твоя еще хуже...»

Что расслышали сидевшие за столом из телефонного разговора двух кухарок? По бледным щекам девушки текут слезы, но и в других глазах они стоят неподвижно. Рядом с ней мужчина молчит, мужчина ждет — не смеет предложить... хотя эти плачущие глаза уже вошли ему в душу, и, быть может, потому, что вошли как-то слишком и сразу в душу — он молчит.

Расстроенная кухарка выходит из спальни.

— Вы, Владимир Павлович, можете не ехать к madame Ганецкой... эта... madame... не возьмет нашу барышню.

Она убирает со стола, сердито стучит посудой, всех забрасывает крошками.

Но вот раздался звонок телефона. Паша кидается к нему.

— Да, это я, Паша... Таня?.. — слушает внимательно.

Сидящие за столом видят через полуоткрытую дверь, что на ее лице, с каплями пота на лбу, появляется торжествующее выражение.

— Ну, спасибо, Таня! .. Уж ты спрытная девка ... Так ... держи ее в кулаке ... Завтра? Даже сегодня? .. Благодарствуй ...

Она торжественно входит в столовую, становится на фоне тюлевых занавесок.

— Устроила ... я устроила барышню ... Вы их отвезите, Владимир Павлыч.

— Куда?

— Да к этой самой ... госпоже Ганецкой.

## НАТАША

Была срочная работа, и хозяйка мастерской попросила нас остаться поработать сверхурочно. Кое-кто сумел отговориться; остались только мы — три «ответственные» работницы и «вторая рука» — Наташа.

Эта Наташа была не совсем обычной личностью. Всякая мастерица, попадавшая в мастерскую, прежде всего замечала Наташу. Всем почему-то казалось, что она «премьерша», такой спокойный и независимый вид был у этой молодой девушки. Но и узнав, что она всего-навсего «вторая рука», продолжали с ней считаться больше, чем с самой хозяйкой. Хозяйка была деспотичной и резко откровенной и все-таки с ней можно было поспорить и чего-то добиться — лестью, аккуратностью, готовностью. У Наташи ничего нельзя было добиться; ни дружбы, ни похвалы, ни откровенности. Как посмотрят на «новенькую» ее светло-голубые глаза, так, кажется, проткнут ее насквозь. И станет неловко и почему-то беспокойно и неприятно. Случалось, что после первого взгляда Наташа вовсе переставала замечать сослуживицу; сидит рядом, или напротив, безразличная, холодная и не сделает попытки заговорить, а на

заданные вопросы отвечает сухо и коротко. Но случалось и так, что вдруг посмотрит «новенькой» в лицо, опустит глаза над работой, поднимет снова, еще и еще... И вдруг спросит громко, на всю мастерскую:

— Как ваше имя и отчество?

«Новенькая» вздрагивает, подтягивается, рапортует:

— Мария Ивановна, — и выжидательно-смущенно смотрит в голубые Наташины глаза.

— Вы мне нравитесь, — говорит та сурово-внушительно.

Это означает, что симпатию Наташи разделит деспотичная хозяйка и сдержанно властолюбивая «премьерша». И все мастерицы станут с «новенькой» считаться.

Странная личность Наташа. Именно личность единица. Таится в ней какая-то сила крепкая, нетронутая, неразбуженная... А может быть просто умело запрятанная, и без надобности не растрачиваемая. Поражает в ней и ее внешность, редкая в Париже: высокая, с маленькой гордо сидящей головой, с гладко, без пробора, зачесанными за уши светлыми волосами, нестриженная и не намазанная, с бледными узкими губами всегда крепко, всегда упорно сжатыми, бледным прозрачным лицом и глазами светлыми, спокойными, небольшими, а на красивом высоком лбу — едва заметным золотистым пушком — ровные, короткие, прямые линии бровей. И при всем этом — лицо красивое,

лицо непонятно-влекущее и возбуждающее внимание.

Никто не знал, нравится ли Наташа мужчинам. Знали, что она девушка, что ей двадцать семь лет, что живет с крестной матерью, полупомешанной старухой; что посещает музеи, лекции, публичную библиотеку, изучает английский и итальянский языки, запоем читает книги, преимущественно исторические и сама пишет стихи и романы. Говорят, что печатается в нескольких издательствах, но строго скрывает свой псевдоним.

И фамилия у этой девушки необыкновенная, такой не встретишь, хоть обойди полмира. Очевидно принадлежит только ей одной, нераздельно и вполне заслуженно. Произнести эту фамилию, это — нескромно указать на личность — найдется в Париже много людей, знающих это имя.

Надо сказать, что попав в описанную выше мастескую (в то время портнихи часто меняли мастерские) и представ пред «светлые очи» Наташи, я испытала странное чувство. Рядом со мной сидела одновременно поступившая со мной мастерица, и я была свидетельницей экцентричной похвалы, говорю экцентричной потому, что дама, к которой обратилась Наташа, была уже сильно пожилой. Скосив глаза на соседку я увидела, что она покраснела и смутилась, но ничуть не обиделась за непрошенный комплимент, а я испытала чувство непонятной досады, что он относился к другой, а не ко мне (ее ровеснице). И с этого мо-

мента я поставила себе цель — понравиться Наташе.

Я рассказала ей про себя все, что могло бы меня возвысить над толпой, вспоминала некоторые факты из моей жизни, характеризующие меня как недюжинную личность, старалась быть остроумной, смелой, гордой... Наташа даже не смотрела на меня и, казалось, не слушала. Было нестерпимо обидно и я часто, подолгу и с ненавистью, останавливала свой взгляд на ее лице. Бывали такие моменты, что мне хотелось подойти к ней и сказать: «Послушайте, Наташа, ведь я же человек, так поглядите на меня внимательнее, может быть, в моей душе вы найдете больше родства, чем находите в других...»

Но я ничего не сказала этой странной девушке и так и не придумала, чем обратить на себя ее внимание. Тогда мне надоело добиваться и я искренно к ней охладела.

Я не могла не заметить, что Наташа удивлена, что смотрит на меня пристально и подолгу, точно чего-то ожидая, или к чему-то готовясь. Стала она мне до такой степени безразличной, что сидя напротив нее, я даже временами ее не видела.

Она сама подошла ко мне с удивившей меня фразой:

— Говорят, что вы похожи на меня. Вы не в обиде?

Я ответила:

— А почему не *вы* на меня?

Наташа казалась изумленной. Она смотрела,

точно не понимала и отошла молча. Очевидно, я сильно задела ее самолюбие.

Спустя некоторое время я спокойно, без волнения, приняла ее дружбу или, вернее, симпатию, и платила ей хорошим незлобивым чувством. Однако особенного интереса к ее личности уже не было.

Но вот когда Наташа заставила обратить на себя мое, как мне казалось, улетевшее внимание. Именно в тот вечер, когда мы остались на сверхурочную работу вчетвером: три дамы и она одна — девушка.

Говорили сначала о работе, о тяжелой эмигрантской жизни, вспоминали российские времена, вздыхали, охали, волновались. Поспорили о политике. Каждая дама защищала причастность своего мужа к той или иной партии, горячо пропагандируя свои идеи. Три дамы — три различные партии. Наташа молча улыбалась и не вмешивалась в наш горячий спор. Да и не до нее было: разгорелись страсти, покраснели щеки, заблестели глаза, остановилась и вовсе забылась хозяйская срочная работа. О, если б наши мужья нас видели, они были бы польщены! Как пламенно мы восприняли их уроки, как беззаветно и смело верили в их правоту!

И не знаю, чем кодчился бы наш политический спор, если б Наташа не сделала «птичку» на рукаве платья, за которое была ответственна Мария Ивановна. Бедная эс—эрка так огорчилась, что тут же заплакала, как беспомощный ребенок.

— Что делать? Как спрятать дырку? — с жалкой плачущей физиономией обращалась она поочередно к нам, еще недавно ярым политическим противницам.

«Птичка» для ответственной мастерицы дело серьезное. Сразу улеглись страсти пред столь важным событием.

Ольга Ивановна придумала выход из положения:

— Надо рукава украсить инкрустациями, и хозяйке внушить, что так гораздо красивее и соответствует фасону платья.

Разговор долго не клеился. Даже минуту или две было гробовое молчание. Слышно было, как исступленно билась о стекло электрической лампочки муха.

— А, в общем, надоел Париж, — заговорила успокоенная Мария Ивановна.

И с этой невинной фразы опять начались бесконечные дамские разговоры. На этот раз они были пикантные. Говорили о французских нравах вообще и в частности, порицались француженки, высмеивались и подвергались беспощадной критике молодые парижане. Как всегда, дошла очередь и до шокирующих русское благонравие поцелуях в открытых местах.

— Безобразие! Гадость! Профанация любви! — кипели мы все, по очереди.

Вмешалась Наташа.

— И никакого безобразия тут нет, — спокойно

сказала она, вдевая нитку в тонкое ухо иголки и щуря голубые глаза.

— Как нет??! — вскричали мы все в один голос.

— Так и нет! — повторила Наташа, и вдруг потемневшими расширенными глазами смело взглянула на нас, точно бросая вызов.

Никто не промолвил ни слова, все вдруг поняли, что будет говорить Наташа что-то *свое, собственное,* не выдуманное, не шаблонное. Она никогда не говорила о себе, и тем более хотелось узнать, что сидит там, внутри ее, до чего никто еще не касался и не мог бы понять без ее помощи. Чувствовалось, что Наташе недостаточно было сказать про себя, нужно было еще объяснить, что вот это так, а не иначе.

Голубые глаза все темнели и темнели, что, очевидно, означало сильную душевную боль, но ее голос не дрогнул, когда она начала:

— Моя любовь родилась и жила только в метро. Перенесенная в тайную обстановку она превратилась сначала в ад, а потом и вовсе умерла.

После короткой паузы Наташа продолжала:

— Вот здесь я работаю уже два года, до этого я служила манекеном в доме мод, на Avenue de l'Opéra. Ездила я не как все остальные манекены в первом классе, а во втором, ради экономии. Конечно, сильно страдали от этого мои туалеты, но что же делать? Приходилось возвращаться в рабочее время, в семь часов, когда особенная давка. Кругом рабочие с заводов, угольщики, маляры, среди них мы — «кутюрьерки». Знакомые уже физионо-

мии, приевшиеся, грязные. И вот появилась одна, новая. Очевидно — рабочий с завода, но не француз. Это было видно сразу по каким-то необъяснимым признакам, характеризующим интеллигента, — даже в самом неприглядном виде. Очевидно кавказец — лицо нерусское, темное, резкое, упрямое. Палящие глаза, сдвинутые брови. И при всем этом — какая-то духовная напряженность на грязном пропотевшем лице. Мы встретились глазами раз, другой... Незнакомец как бы улыбнулся, или, может быть, мне показалось... На второй, на третий день опять поездка рядом через восемь остановок. Я выходила первой, и выходя чувствовала, как колят мне спину его глаза. А однажды была страшная давка. Где-то, что-то случилось и наш поезд застрял. Публики набилось до отказа. За моей спиной, я чувствовала, знала, хотя и не оглядывалась, стоит он. Сильная дрожь всколыхнула мое тело; мне было стыдно, я боялась что он может это почувствовать, ведь я к нему была совсем-совсем близка в этой давке. Он обнял мою талию и сказал по-русски, как хорошо знакомой:

— Выйдемте, а то вам может быть дурно.

Мы вышли из вагона и я бессильно прислонилась к стене. Он закурил папиросу, стоя со мной рядом.

— Вам уже близко, а вот мне — до самого Auteuil, — сказал так просто, точно знал все про меня. — Хотите, я вас провожу пешком? Или, может быть, трамваем, автобусом?

Он не сказал ничего про такси, видимо не мог

себе позволить эту маленькую роскошь и не хотел кривить душой. Люблю простоту, естественность, ненавижу игру и притворство.

Я ответила:

— Пойдемте пешком. Мне недалеко.

Было летнее время, было еще совсем светло, и я разглядела его с ног до головы. Боже! как был он некрасив, как жалок в своем засаленном штатском костюме, обращенном в рабочий. Но такой простоты, такой независимости я еще не видела ни у кого. А ведь он шел рядом с хорошо одетой барышней.

Ему было лет за тридцать. У подъезда отеля мы попрощались как-то поспешно: он пожал мою руку, приподнял шляпу и сразу исчез.

На второй день была суббота, потом — воскресенье и, надо сказать, эти два дня до понедельника я все время думала о нем, готовясь, не без волнения, к новой будничной встрече. В понедельник я его не увидела, во вторник тоже. Страшная тревога наполнила меня и я не могла себе простить, что не узнала его адрес. Через неделю я снова увидела его. Он показался мне сильно похудевшим и постаревшим. Ему можно было смело дать целых сорок лет. Я кинулась к нему с упреком:

— Где вы были?!

Я не могла сдерживаться, так дрожала от внутреннего беспокойства и обиды. Он не удивился, и так же просто как и я сказал:

— Я был болен. Мне хотелось дать вам

знать... но... я не знаю... Вы, может быть, замужняя...

— Да нет же, нет! Я свободная, я девушка! — сказала я, все в том же беспамятстве.

— Это хорошо, — был ответ.

Он не хотел бывать у нас.

«Знаете, у меня вид такой ужасный... Я вскоре куплю новый костюм, вот тогда приду. И буду жить один, а сейчас, пока, с товарищем. Товарищ всегда дома...

— Что ж вы думаете, что я приду к вам? — спросила я обиженно.

— А почему нет? Придете...

И я поняла, что не прийти не могу. Ведь не могла я видеть его только в метро; он даже меня не провожал, а я стеснялась его, уставшего, об этом просить. Целых три месяца так. И все же, какое это было счастье! Мы признались друг другу в любви; поклялись в верности до гроба; сначала стеснялись, а потом... глядя на добродушные физиономии французов мы поняли, что можно все... и целовались... да, целовались! Вы думаете — замечали людей? Нет! Нет! Великое счастье любви сделало нас слепыми, глухими и ничего не понимающими... Любовь на людях... по французски, разве не все равно? Правдивая, естественная, имеющая право на существование!

Но вот кончилась «метровская идиллия», наступила серая действительность, — Наташа горько улыбнулась, нажимая на слово «идиллия». — Он явился однажды к нам в воскресенье, в послеобе-

денное время. Меня не застал. Дома была моя старая больная родственница и кузина Варя, приехавшая из Брюсселя погостить, посмотреть Париж. Он спросил, скоро ли я вернусь, и получив ответ, что я в гостях, а вечером собираюсь в театр, — немедленно удалился. Но мы встретились на лестнице.

— Был у вас, — сказал он, целуя мою руку.

Я увидела на нем долгожданный костюм.

— Ну, а комната? — спросила я.

— Тоже есть. Вот адрес.

Он сунул мне в руку бумажку с мелко и криво выведенными буквами. Помню, что взглянув на его почерк меня словно передернуло: кривые, мелкие, неразборчивые буквы означают натуру сложную, не искреннюю, не глубокую и преступную. Так, по крайней мере, уверял меня один знаток графолог. Что за глупости! Проще и искреннее его я не встречала.

Мы поднялись на шестой этаж и остановились у моей двери. Я собиралась позвонить, но он удержал мою руку.

— Наташа, одно слово . . .

Я повернула к нему лицо и при свете электрической лампочки увидела его расширенные страстные глаза.

— Ты придешь завтра ко мне?

И вдруг я вспомнила, впервые за эти три месяца, что я девушка, и что я, в сущности, совсем, совсем мало знаю о нем и об его планах. Знаю только, что он холост, что в прошлом был офицером, что у него много знакомых и друзей, что он любит бы-

вать в обществе и на товарищеских обедах, где веселые песни и вино дают забвение трудностей житейских. Есть ли у него семья и где, что он пережил и о чем он мечтает, к чему стремится — я не знала, не спрашивала, а он сам ни разу не поделился со мной своей внутренней жизнью, ни разу не открыл свое сокровенное «я». Обо мне он узнал все до мельчайших подробностей, там же в метро, между жгучими поцелуями и торжественными клятвами в любви... Да, я не знала его! и эти кривые буквы, этот упрямый крутой подбородок, нестерпимым блеском горящие глаза заставили меня призадуматься, поколебаться.

Он глядел пристально-пристально в мои нерешительные, напуганные глаза и вдруг сказал:

— Если боишься меня — не приходи!

Голос был суровый, чужой и холодно-спокойный. И это после всех клятв, после беспамятных поцелуев! Ужас! Ужас!.. Мне хотелось упасть на землю и кричать от боли, от обиды, от душившего меня гнева. «Не приходи!»... Значит, если я не приду, то ничего особенного в его жизни не случится, о чем можно жалеть и страдать... Не случится! А роль моя? роль? Я ведь не невеста, не будущая жена! Что же я такое? Легкая интрижка? спутница в метро?.. Ужас!..

Я почувствовала к нему внезапную сильную ненависть. Я знала, что если он даже и будет потом стараться загладить эти слова, я их никогда не забуду. Остро и мучительно ощутила я в своем сердце желание мести, которое я еще никогда и ни

к кому не испытывала ... Я не сказала ему ни слова, я стояла, с виду спокойная, но он понял что-то, потому что сказал мягче, беря мои руки:

— Я не хочу, чтобы ты жалела потом ...

Этой фразой он спутал, усложнил впечатление от предыдущей, и я перестала понимать, о чем я должна жалеть и чего бояться. Того, что готова связать свою жизнь с жизнью этого незнакомого человека, или того, что ... принеся в жертву своей любви все, что у меня есть святого, должна буду исчезнуть с его пути, как исчезают в холодных сырых туннелях ежеминутно мчавшиеся поезда.

И все-таки я пошла.

Весь вечер он сидел у нас и веселил, главным образом, мою молоденькую кузину. Она смеялась беззаботно и наивно, как могут смеяться только в шестнадцать лет. А он ... он ею любовался, а, может быть, и жалел, что вот я не Варя с золотистыми локонами, круглым, еще детским, лицом с кокетливыми ямочками. Мне ведь было тогда уже двадцать три года.

Холодное и жуткое предчувствие касалось моей груди ... Мне хотелось встать, взять этого уже немолодого, некрасивого мужчину за плечи, повернуть к двери и ... навсегда забыть о нем. Но ... знаете ли вы, что такое женская любовь? — Когда женщина любит, она не успокоится, пока не повергнет к ногам мужчины все чем она живет, чем дышит. Все! Очевидно, таков закон природы. Жертвенность нам свойственна также, как мужчинам — эгоизм. Мы даем, они принимают, иногда

чутко и ласково, с благодарностью, а большей частью — грубо и как должное. И вот я пошла. Уговорились о времени.

Я постучалась к нему робко, точно не имела права. Он встретил меня ласково, но смущенно.

— Видишь, как я живу, — сказал он коротко.

Я огляделась. Мне бросились в глаза грязные стены в мутных сырых пятнах. несвежая постель, беспорядок на столе. Но там, среди разбросанных бумаг и коробок с папиросами, невымытых стаканчиков для вина, нежно и кротко, все искупая, выглядывал маленький букетик фиалок. Я устремила на него глаза — благодарные, счастливые... Значит он думал обо мне... думал... А вот и коробка с конфетами, стыдливо полузакрытая газетой...

Странный, неловкий человек. Не предложил раздеться, снять шляпу и перчатки. Я так и просидела до конца на его кровати, — как садилась в метро на скамейку. И только когда я уходила, он заглянул мне в глаза и вдруг сказал резко:

— Ты видишь, что нечего было бояться меня, я — человек.

Что думать о нем, я не знала... Путались мысли, ощущения, путалось все во мне и вокруг меня... Я приходила к нему часто. Он был спокоен, корректен, разговорчив. Иногда ложился на кровать, а я сидела рядом и смотрела на него, желая проникнуть туда, в глубь этих черных глаз, непроницаемых и влекущих как пропасть. Он ничем не оскорблял меня, а я все больше и больше

считала себя обиженной, униженной, ненужной ни его телу, ни сложной замкнутой душе. Накипала в душе злоба, рвались наружу из пылкого сердца жестокие упреки.

Однажды, когда я уходила, он задержал мою руку. Поднес к своим горячим губам и . . . точно не мог оторваться.

Я стала перед ним на колени и заплакала горько, неутешно, как плачут маленькие обиженные дети.

— Дмитрий, не мучь меня! Ведь я так страшно, так нестерпимо в жизни одинока. Ты у меня один, единственный, для кого я хочу жить, о ком хочу думать, заботиться.

Он глядел на меня сверху и крепкой мужской ладонью провел по моим волосам.

— Я никогда с тобой не поступлю плохо.

— Как «плохо»? — спросила я дрожа.

Он задумался. Там, наверху, где было его лицо и где горели его глаза, свершалась моя судьба; а внизу, припав лицом к его коленям, я сознательно приносила свою последнюю величайшую для женжины, жертву . . .

Наташа умолкла и тревожно огляделась вокруг. У меня было впечатление, что она совсем забыла про нас. Вернее всего, она говорила со своей душой, вспоминая и переживая заново свою сложную и жутко-одинокую любовь.

— Он стал моим женихом, но я знала, чувствовала, что мужем моим он никогда не будет. Я бессильна была понять, почему, что нам мешает пой-

ти, как другим, узаконить нашу связь в храме Божьем. Мне казалось иногда, что на страже у церковной двери стоит дьявол и что от него родилось и по-дьявольски усложнялось наше чувство. А знаете, какие ссоры бывали между нами? Из-за всего. Посмотришь не так, не так повернешься. Тяжелой и прохладной любовью билось его сердце, жгучей, страстной и мстительной — мое. Бесконечные упреки. Частые разрывы. Мы не щадили друг друга совершенно. Я хотела его чувство сделать живым и горячим, я добивалась этого всевозможными средствами: угрозами, обидами, ласками, клятвами. Он хотел, чтобы я образумилась, сделалась спокойной и менее интенсивной, умерила свой темперамент и ограничила свои права на него.

— Я никогда на тебе не женюсь! — сказал он однажды. — Мы совершенно не подходим друг к другу.

— Как?! Ты берешь свое обещание обратно? — крикнула я исступленно, забыв свое женское самолюбие и достоинство.

— Да, беру обратно, — ответил он спокойно и сухо.

Тогда я заплакала, бессильно и жалко скорчившись на грязном диване его холостой комнаты. Он даже не подошел ко мне. Сидел молча и спокойно курил папиросу.

Я встала и шатаясь вышла из его комнаты. Он не вернул меня. Что я пережила за эти сутки! Я говорю сутки потому, что я пошла к нему на сле-

дующий же день, — униженная, готовая принять какие угодно условия, лишь бы не потерять его. Он ждал меня. Встретил ласково, и спокойно поцеловал меня.

— Забудем все горе и все обиды, которые мы друг другу причинили, — сказала я с мольбой.

— Забудем, — согласился он коротко и стал говорить о постороннем.

Я сидела, как и в первый раз, на его кровати в пальто, шляпе и даже в перчатках. Знала, чувствовала, что примирение наше, не примирение будущих супругов; душа остро чувствовала, что я бесправная, ненужная, временная посетительница вот этой тайной холостой комнаты, где сначала умерла моя гордость, потом — мои права, а затем и любовь моя. Не скоро, но разлюбила я его.

Перестала посещать, уговариваться о встречах, Он всегда так ценил свое время и так жалел мне его уделять... Неправда ли: тот, кто любит, тот каждую свободную минуту стремится провести с любимым, а он... с первого дня ценил свое время, свой отдых, боялся что я засижусь, помешаю... Помешаю, — горько повторила Наташа. Любимая женщина никогда не может помешать, а я... всегда мешала, редко попадала во время, то есть тогда, когда и он хотел меня видеть...

Наташа задумалась, опустила голову, взглянула в мои сочувственные глаза.

— Вы поняли? — спросила она почему-то меня одну.

Я не испытала такой унизительной, такой тя-

желой любви, но моя душа поняла и оправдала великую силу и жертвенность Наташиной любви.

— А в метро, на людях, все эти три весяца, я была бесконечно счастлива, и потому не осуждаю бедных французских девушек, не имеющих крова для своей любви. Сильное чувство не нуждается ни в обстановке, ни в уединении. Оно всюду имеет право жить, развиваться, торжествовать. И всякий должен перед ним склониться.

Строгие Наташины глаза снова посветлели, стали опять прежними — спокойными и холодными.

А мы все почувствовали, что эта странная девушка, так неожиданно и смело открывшая нам свою тайну, не нуждается в наших сочувственных высказываниях и мнениях.

## РАДОСТЬ

В амбулатории русского Красного Креста, на приеме у врачей, бывает масса народа всех возрастов и сословий.

Я села на скамейку рядом с двумя старичками. Прислушалась, о чем говорят. Думаете, — о болезнях? Нет, о межпланетном сообщении. С жаром вычисляли, через сколько лет можно будет сесть в аппарат и — прямо на Марс!

Вспомнилась мне моя мать. Она ведь тоже стремилась туда — в безграничное пространство — и все вычисляла... вычисляла... пока смерть не закрыла ее лучистые, устремленные к таинственному небу, глаза.

Стало мне нестерпимо грустно. Отошла я от старичков, села рядом с двумя женщинами. Одна в шляпке, другая в платочке. Та что в шляпке, приподняла стыдливым жестом юбку, показала соседке опухшее колено. Женщина в платочке спросила:

— А вас шарпает?

— Иногда.

— Худое ваше дело! Как бы дохтур не оттяпал вам...

— Ах, что вы! — перебила ее с ужасом старуш-

ка. — Типун вам на язык! типун! — и заерзала на скамейке вся встревоженная, взъерошенная, словно старая кошка при виде злой собаки.

Женщина в платочке ухмыльнулась.

— Ишь как испужалась. Старенькая вы, а боитесь смерти.

— Я не смерти боюсь, — жалобно оправдывалась старушка, — но как же мне жить без ноги? Ведь я одна, одна... и живу так высоко — на седьмом этаже, и...

Женщину в платочке вызвали к врачу. От врача она вышла заплаканная. Шумно сморкаясь объяснила старушке в шляпке, что у нее оказалась очень большая «фаброма» и что хирург советует не откладывать операцию.

— Типун ему на язык! типун! — повторяла теперь уже она.

Дама в шляпке утешала:

— Подите, голубушка, в госпиталь. Там сделают вам рентгеновский снимок. Может быть никакой фибромы у вас нет... врачи так часто ошибаются.

Бабенка окрысилась:

— Да ну их, проклятущих, в болото! Не пойду я никуда... никуда, — и принялась всхлипывать, вытирая рукавом жакета обильно текущие слезы.

Вызвали к врачу и старушку с больным коленом. Я с тревогой ждала ее появление. Задумалась над ее долей: «Одна... одна...» и не заметила, как она приблизилась к нам.

Радость, которую она сдерживала из сочувст-

вия к горю «фабромной» женщины, была явно заметна. Все мелкие морщины на ее лице, казалось, плясали, а глаза сияли как у молодой. Значит, доктор не нашел, что нужно «оттяпать» ногу.

Я разговорилась с ней. Оказалось, что ее сын живет в Америке, женился там, хорошо зарабатывает...

Я скользнула глазами по ее изношенному пальто, по стареньким башмакам, и она, заметив мой взгляд, сразу начала оправдывать сына:

— Он был хорошим, но, знаете, Америка, это такая страна — кто туда попал, сразу превращается в эгоиста. Это потому, что каждый, во что бы то ни стало, хочет «догнать и перегнать» осевших на американской земле соотечественников. «У тех есть автомобиль — и я хочу автомобиль», «У тех своя ферма — я тоже хочу ферму», а потом пошло и пошло, как в сказке о золотой рыбке: одно желание сменяется другим, и нет им конца, этим желаниям. Только смерть сможет остановить это безудержное стремление к люксу, только она одна...

Я пригласила старушку к себе позавтракать.

— Угощу вас американскими продуктами. Как раз вчера получила посылку.

— От кого? — заинтересовалась она, и сейчас же извинилась:

— Ах, простите! Это, быть может, секрет.

— Секрет? Почему же секрет? Я получила посылку от Дамского благотворительного комитета. Во главе его стоит замечательная русская женщина. Благодаря ее энергии и энергии других дам

комитет оказывает большую помощь застрявшим в разоренной войной Европе.

— Значит, не все там эгоисты, — сказала она тихо.

— О, далеко не все! — подтвердила я, припомнив все добро, которое сделали для нас живущие в Америке родственники.

Я не могла сдержаться, чтобы не показать ей фотографии, хотя и боялась, что это может ранить ее сердце. Вынула из коробки и разложила перед ней снимки Пети и Нади, кузины Лизы и ее мужа, строгого на вид, но с такой теплой, такой ласковой фамилией.

— Он строгий на вид, но такой же ласковый, как и его фамилия, — сказала я.

— Что же это за фамилия?

— Угадайте! Ни за что не угадаете!

Она звонко, как школьница, рассмеялась, стала называть «ласковые» фамилии, а я все «Нет!» да «Нет!» Наконец она взмолилась:

— Пожалейте мою старую голову, — ничего больше не выдавлю из нее...

— Ну хорошо, его зовут Солнышкин.

— Ах! Это, действительно, звучит тепло и ласково. Как я сама не догадалась?.. А это кто?

— Это племяники. Толя — он поэт — и его брат, недавно женившийся.

— На американке? — вскинула она на меня испуганые глаза.

— Нет, на русской.

— Ну, слава Богу! А мой сын на американке же-

нат и... это она, ее влияние, — попыталась опять опрадать свое чадо.

Прощаясь она сказала:

— Я живу в таких условиях, что никогда не решусь пригласить вас к себе, потому и адреса не даю, но, если позволите, я когда-нибудь еще зайду к вам — душу отвести. Принесу фотографию сына. Вы увидите, какое у него доброе и честное лицо... Если бы он разошелся с этой женщиной... если бы вернулся во Францию..

«Бедная мать! Не только в Америке, но на всем земном шаре встречаются черствые, неблагородные люди», — думала я, глядя на ее изможденное лицо.

Но она, видимо, долго печалиться не могла, или не хотела, быть может, показать печаль. Элегантным жестом запахнула свое пальтишко, перекинула через плечо шарф и сказала:

— Когда будете писать в Дамский комитет, опишите им мою радость по поводу этого американского платья, которое вы мне подарили. И завтрак опишите, — с каким удовольствием я лопала то, что они вам прислали.

— Хорошо. Я опишу!

## ДОКТОР И СИДЕЛКА

С наступлением холодов Ольга Михайловна заболела ишиасом. «Вот еще сюрприз Ване!» — подумала она с досадой. Кривясь от боли при малейшем движении поясницы, она все же приготовила постель, наполнила горячей водой грелку, поставила рядом, на тумбочке, стакан молока, сухари, и со вздохом легла.

Пролежав полчаса она начала томиться, не столько от боли, сколько от безделья. Перспектива встать, чтобы взять книгу или бумагу ( у нее в голове уже начали бродить рифмы) вовсе ей не улыбалась. Печка была незатоплена и окно в соседней комнате приоткрыто, а на дворе был, как для Парижа, «трескучий» мороз — 5 градусов ниже нуля. С неба сыпалось нечто вроде снега, впрочем квартирантка с верхнего этажа только что вытряхнула ковер, может быть, то были самые обыкновенные соринки.

Она смотрела с интересом: если долго будет продолжаться, значит, — снег. Так и есть! — обрадовалась она, сама не зная почему. Любовь к снегу привезла она с собой на чужбину и не уставала жалеть парижан, что они не знают настоящей зимы с большими сугробами и с захватывающим ды-

хание морозом. Ее не понимали. «Напротив, мы очень счастливы, что у нас климат мягче. Зима хороша только для богатых людей», — возражали ей французы. «Да, это правда, что бедняков зима бьет по карману», — вдруг вспомнила она свое детство, которое делилось на две части: сначала счастливое и беспечное, потом, с болезнью отца, полное лишений. Не из-за суровой ли зимы заболел ее младший брат суставным ревматизмом, от которого умер? Не из-за суровой ли зимы страдает она сама общей невралгией? Почему любит то, что ей приносит вред? «Старая латинская нация знает точно, чему радоваться и на что пенять, а мы, славяне, мы как дети: любим и ненавидим неизвестно за что».

Теперь снег падает гуще, и сердце Ольги Михайловны бьется как птица в тесной клетке. «Наверное уже все белое-белое!» Теплая постель не пускает, и больная нога тоже требует покоя, но любопытство сильнее. Цепляясь за окружающие предметы, она подходит к окну. «Нет еще, но к вечеру, если не потеплеет, все будет покрыто белым саваном».

Когда-то, в молодости, она недурно рисовала покрытые снегом поля, леса, бледное дымчатое небо, маленький красный костер, зажженный чей-то озябшей рукой; следы хищников в поисках пищи, следы птиц уставших от полета. «Да, зима — тяжелое испытание для живущего мира, и все же ее нельзя не любить. Любовь платоническая, любовь мистическая, сны, гаданья, предчувствия, самоот-

вержение — европейцу непонятны, европейцу смешны. Какой смысл любит то, что связано с расходами? Что связано с мучениями? — расуждает он».

***

В голове Ольги Михайловны уже созрело решение: «начну писать роман». Но о чем? Она опишет самоё себя, просто, без прикрас, со всеми своими достоинствами, со всеми недостатками. Толстой дал Наташу, Пушкин — Татьяну, Лермонтов — княжну Мери, она, Ольга Михайловна, даст Олю. Будут ли читатели любить ее героиню, иначе говоря ее самоё, как любят тех классических? Поймут ли, оправдают ли или пожмут плечами и скажут, как парижане при виде снега: «Кому он понадобился?» И ну сметать его вениками сгребать лопатами, посыпать золой . . . «Пусть! Я дам Олю. Я скажу правду о женской славянской душе, мятущейся, бестолковой, доброй и злой, такой, какой ее создал Бог — величайший артист, художник и психолог. Для чего создал? Мы не знаем, как не знаем, для чего Он создал волка, ворона, змею, паука. У Него свое понятие о полезном и бесполезном.

Болит ли нога, или не болит? . . Если думать о романе, то не болит, если думать что нужно вызвать врача — болит. Врач, наверное, впрыснет морфий — страшный яд. Оля же выделит из себя непонятную живую силу, которая приостановит

физическую боль. Есть ли эта сила в европейской материалистической душе? Если есть, то в гораздо меньшей степени, чем в осмеянной âme slave.

⁂

Иван Петрович привык к неожиданным болезням жены. Увидев гору исписанных листов, облегченно вздохнул.

— Ишиас? Это же ужас! Но ты писала и...

— Но я писала и не чувствовала боли, — улыбается жена. Ее глаза еще горят вдохновением, но она уже на земле. — Вызови на завтра эскулапа и эту нашу толстуху.

— Сейчас.

Он уже за дверью, а жена кричит:

— Вернись на минутку!

— Что еще?

— На дворе бело?

— Бело! — оживляется муж, хотя ему здорово щипало, некогда отмороженный, нос.

— Но не так, как у нас?

— Еще бы!

Ночью Ольга Михайловна очень страдала и муж не уставал менять ей грелки, а на утро вкатилась, закутанная в шаль, необыкновенной толщины женщина и смеялась, стоя на пороге.

— Мороз, снег! — сообщала она, словно какую-то радость.

Ольга Михайловна, измученная бессонной ночью, улыбалась тоже.

— Еще не сметают? — спросила она с любопытством.

— Какое! На улицах, конечно, сметают, но у вас тут, во дворике, нечто вроде сада. Я стояла и любовалась: какой он белый-белый, в особенности на кустиках... Ну, да черт с ними, с кустиками! — перебила она сама себя. — Что у вас, дорогая? Опять нога?.. Доктора вызвали?

— Должен скоро приехать, — ответил за жену Иван Петрович. — Ольга Михайловна всю ночь мучилась и мы оба не спали.

— Бедный вы человек! — пожалела она мужа, глядя с упреком на жену.

Ольга Михайловна вспыхнула.

— Бедный? Ты слышишь, Ваня? Мария Валерьяновна жалеет тебя больше, чем меня.

— Конечно, больше! — ухмыльнулась толстуха. — Вы его, действительно, загоняли.

— Нет, не совсем, — пытался обратить в шутку начинающуюся ссору Иван Петрович.

Мария Валериановна ушла в переднюю раздеваться, а Ольга Михайловна в это время плакала. Муж ее утешал:

— Охота тебе...

— Что вы, душечка? Неужели так сильно болит? — появившись на пороге, всполошилась толстуха.

Она отняла руки больной от ее заплаканного лица и зажавши их в своих ладонях внушала:

— Не надо так распускать свои нервы, они у вас никудышние! Я вам принесла интересную кни-

гу, я вам приготовлю что-нибудь вкусненькое, я вас вдохновлю на хороший роман, я вам . . .

Ольга Михайловна уже смеялась, а успокоенный Иван Петрович стал собираться на работу.

— Поручаю вам жену, — пожал он руку сиделке, а жене шепнул, целуя ее в лоб: — Будь же умницей и не сцепляйся с ней.

Выходя наткнулся на доктора.

— Собачий холод! — сказал он ввиде приветствия.

Мария Валериановна выползла в переднюю и помогала доктору разоблачаться; Ольга Михайловна спешно пудрила лицо и красила губы.

— Здравствуйте, дорогая! — поцеловал он протянутую ему руку. — Я немного опоздал, задержала меня одна старая ведьма.

— Вот как вы о пациентках! — погрозила ему пальцем Ольга Михайловна.

— Пациентка . . . я уж и не знаю для чего она меня вызвала. Увлеклась воспоминаниями о молодости, а про болезнь ни слова.

— Но все же, в конце концов, что у нее оказалось?

— Откуда я знаю, — пожал доктор плечами, — я ее не осматривал.

— Ну а гонорар? — заинтересовалась Ольга Михайловна.

Доктор засунул руку в карман и вытащил оттуда билет в 10 франков. Смотрел на него долго и неодобрительно.

— Это все!? — удивилась Ольга Михайловна.

— Возможно что был еще один... но куда делся? — стал шарить по карманам. — А, знаю, я купил вот это! — сказал он, вынимая из кармана пиджака помятые «рожки» и протягивая их пациентке.

Ольга Михайловна с ужасом смотрела на «круассаны».

— Вы их положили прямо в карман, без всякой упаковки?!

Доктор торжествующе вытянул из кармана просаленную бумажку.

— Вот она, — упаковка! Для чего она вам? — спросил наивно.

— Она мне не нужна, я только ужаснулась, думая, что вам их дали не завернутыми, и принимая во внимание, что вы носите в карманах также носовые платки...

— А где их носить, если не в кармане? — рассердился доктор.

Толстуха хохотала во все горло и у нее прыгали грудь и живот, не стесненные ни лифчиком, ни корсетом.

Ольга Михайловна продолжала, не умея и не желая себя сдерживать:

— Не сердитесь за правду, но доктора, как я давно заметила, объявили войну гигиене; не потому ли человечество все больше и больше болеет?

— Мечников развел гигиену... — начал было доктор, но Ольга Михайловна перебила:

— Много раз вы мне рассказывали про его «салфеточки»... Я говорю о самой элементарной

гигиене: о мытье рук после каждого больного и дезинфекции этих ваших «слухавок» и аппаратов для давления . . .

В свою очередь доктор перебил дерзкую пациентку:

— Кстати — я аппарат забыл.

— И слава Богу! Вы его никогда не чистите; на нем, наверное, тысячи микробов.

— Миллионы! — поправил доктор. — Знаете, сколько на одной булавочной головке . . .

— Тем паче! — опять перебила его пациентка. — Миллионы, и вы их разносите по своим пациентам, то есть не только вы, а все врачи . . .

Это был ее «конек», и доктор перестал на нее обижаться. За 15 лет, что он ее лечил, он привык к ее характеру, к ее вспышкам гнева и к ее доброте. Он знал, что высказав все, что ее волнует, она замолчит, закроет глаза, и когда, через минуту, откроет их снова — в них будет смущение и раскаяние за причиненную обиду.

Предвидя конец вспышки, он осторожно разложил на ее голубом одеяле просаленную бумажку, соединил разломанные куски «рожков», и ждал, когда она оценит его заботу и внимание.

«Рожки» были уложены таким образом, что один смотрел в его сторону, а другой — в ее, и она, открыв глаза и увидев это, звонко и молодо рассмеялась.

— Как Сиамские близнецы! — сказала, беря один «рожок», а другой пододвигая ему. — Кушайте на здоровье! Они, наверное, очень вкусные,

впрочем подождите! Мария Валерьяновна даст вам чаю. Или, может быть, хотите кофе?

— Чаю, горячего и очень крепкого.

— Я знаю, — улыбнулась она по-дружески, — знаю ваши вкусы.

Доктор сел поближе к печке и стал жаловаться:

— Вы не можете себе представить, как сегодня холодно. Я надел на себя все, что попалось мне под руку и все-таки продрог.

— Вы, может быть, больны? — спросила она с тревогой.

— Нет. Но я устал. Мне попалась очень интересная книга, и пока я ее не окончил . . .

— Роман?

Доктор презрительно махнул рукой.

— Может быть стихи? — дразнила она его.

Еще более презрительный жест.

— Если вы такой любитель чтения, я вам дам что-нибудь свое.

Хотя она улыбалась, ее глаза были очень грустны, потому что видела как он боролся с собой. Она приучила его к правдивости в отношении себя и все же, как мог он ответить, что ее сочинениями не интересуется? Почему? Ведь это же ее мысли, ее слова, одним словом — она сама!

Вот он готов сидеть час-другой, делиться с ней всякими новостями, слушать ее болтовню, даже ее замечания, но никогда, за 15 лет, он не попросил, чтоб она ему дала что-нибудь прочесть или сама прочла. А ведь он не считает ее ни глупой, ни ма-

локультурной, и любит ее письма, которые она ему иногда пишет.

В серых глазах пациентки, устремленных на озадаченного доктора, много доброты и, в то же время, снисхождения. «Не надо на него сердиться. Я не Бунин, мне не дали Нобелевской премии. Сочинения неизвестных авторов не имеют никакого шарма», — думала она, но доктор мучился, не зная что ответить. Судьба пришла ему на помощь: крошка «круассана», который он жевал, попала ему в дыхательное горло и он закашлялся.

Ольга Михайловна всполошилась.

— Мария Валерьяновна, скорей доктору чаю! — И постучите ему по спине!

Толстуха стала энергично выколачивать крошку. «Однако у нее кулачки!» — подумал доктор, морщась под ударами. и, еще кашляя, выдавил:

— Лучше дайте чаю!

Она ринулась в кухню.

— Вода еще не кипела, но это ничего; пьют же люди сырую воду, — сказала она подавая стакан.

— Ну, это нет, — отодвинул доктор стакан.

— Толстуха вылила чай в кастрюлю и увеличила огонь.

— На этот раз кипел! — сказала она торжествующе.

Доктор, покашливая, делал маленькие глотки чаю, а Ольга Михайловна пустилась в рассуждения:

— Нет, не все разумно в природе . . . Горло человека устроено плохо.

— Не только человека, — поправил доктор.

— Ну да, самой собой разумеется. Пищевод находится в непосредственной близости от дыхательных путей, туда лезет всякая дрянь.

— И еще как лезет! — добавила Мария Валерьяновна. — Из-за этого погиб наш известный шахматист.

— Ну, знаете... сам он виноват, — сказал доктор, кашляя.

— Как так?!

— Разве вы не читали во... французских газетах?

Две пары глаз устремились на него с любопытством.

Поймав наконец щекотавшую его крошку и препроводив ее куда следует, доктор удобно расположился в кресле.

— Ну, скорее!.. Не мучьте, — просила его Ольга Михайловна.

— Скандал в том, что он ел мясо руками, — это раз. Скандал в том, что он глотал огромные кусища, — это два...

— Скандал в том, что вы верите всяким газетным выдумкам, — это три, — докончила за него Ольга Михайловна.

— И если б это был обыкновенный смертный, то полбеды, — не унимался доктор.

— Знаменитым людям все позволено! — завопила сиделка. — Я пела в хоре Шаляпина, и, знаете, как он с нами обращался?

Тепер жадные к новостям глаза обратились на толстуху.

— Плевал на нас, то есть не на нас, а так... вообще... и при этом жестоко ругался.

— Не может быть! — усумнилась Ольга Михайловна.

А доктор сказал:

— Об его необыкновенной грубости я много слышал, но, правду сказать, думаю что это анекдоты.

— Клянусь! — подняла сиделка толстую руку и торжественно перекрестилась. Потом, откинув назад голову и мечтательно прищурив глаза, сказала сладострастным тоном: — Это был восхитительный человек! Мы все его обожали, в особенности женщины, мы готовы были пойти за ним в огонь.

— За эти плевки? — усмехнулась Ольга Михайловна.

Усмехнулся и доктор.

— Вот именно! Это было очень оригинально...

— У меня есть пластинки с Шаляпиным, — сказала Ольга Михайловна.

— Да что вы! — ринулась к граммофону толстуха. — Какое счастье услышать его голос... услышать его...

Доктор тоже вскочил и помогал ей искать напетую великим артистом пластинку. Однако ее не нашли и, вернувшись в спальню смотрели с упреком на больную, думая что она сыграла с ними злую шутку.

— Пластинка была, — оправдывалась Ольга Михайловна. — Ее у нас кто-то «свистнул» Вероятно кузен мужа.

— Сегодня же пойду в «Возрождение», если есть в продаже — куплю! — сказала Мария Валерьяновна.

— Купите и для нас, — попросила Ольга Михайловна.

— И для меня! — попросил доктор.

— Господа, у меня денег нет! — развела сиделка руками.

— У меня тоже они плохо водятся, — грустно покачал головой доктор. — Русские пациенты не любят платить и, к тому же, половина из них — это мои приятели и друзья.

— Это возмутительно! — сказала Ольга Михайловна.

— Как сказать, — заявила сиделка, — это, может быть, нормально.

Доктор криво усмехнулся.

— Что же мы должные есть? — спросил он грубо.

— Ну, знаете, при нашем русском гостеприимстве с голоду не умрете. Тут вас угостят кофе, в другом месте — обедом, в третьем — ужином.

— Допустим, — согласился доктор. — Но если у меня семья?..

Его лицо было зло; видно было, что сиделка задела его больную струнку.

— Вы завели себе семью? — заинтересовалась она.

— Я говорю en principe, но и у одинокого доктора есть другие потребности, кроме еды.

— Все дадут добрые люди, все! — не унималась сиделка.

— Но если я не желаю зависеть от доброты своих пациентов, если я просто хочу иметь вознаграждение за свой труд?

— Какой труд!? — удивилась толстуха.

Тут доктор, уже без всяких крошек, поперхнулся и закашлялся.

Ольга Михайловна вступилась за него:

— Доктор прав. Больные бессовестно эксплуатируют врачей. Подумайте, что эта «старая ведьма», которую я не знаю, но согласна, что она «ведьма», дала ему за визит всего 20 франков.

— Французы берут минимум сорок франков! — потеряв голову выкрикнул доктор.

Он даже пересел поближе к своей защитнице, иначе говоря — прямо на кровать, и низ его пиджака оказался на подушке, рядом с лицом больной. Она отодвинулась к стенке и, поднимаясь на локоть, продолжала свою пламенную речь:

— Может быть нет на свете другого такого человека который бы так недолюбливал врачей, как я (сиделка усмехнулась, а доктор инстинктивно втянул голову в плечи), но я справедлива. Я считаю, что в России положение врачей было весьма странное, им чуть ли не говорили, как нищим, «Бог подаст».

— Вот именно! — вытянул доктор из плеч голову. — Как нищему! Пока мы учились, мы пере-

бивались с хлеба на квас, когда мы открывали кабинеты, заводили пациентов, нам эти пациенты несли или жалкие гроши, или рекомендательные письма от наших друзей.

— Тра-ля-ля! — завертела головой толстуха. — Это все сказки про белого бычка! Алексинский, Субботин — жили как боги; так, как они, жили сотни врачей!

— Согласен, что сотни, согласен! — кричал доктор. — Но тысячи, тысячи, знаете ли вы, умная барыня, как жили тысячи врачей?

Сиделка услышала шипение в кухне, и помчалась туда с визгом:

— Батюшки! В третий уж раз выкипает мой борщ! — но доливая воду и вытирая жирную лужу на плите, крикнула еще: — За то вы были идейными. Деньги — развращают!

— Вы этой дуре платите за ее «ухаживание»? — понизив голос спросил доктор Ольгу Михайловну.

— Как же, как же, я не люблю эксплуатировать людей.

— Но она вам до сих пор не подала стакан чаю?

— Нет, — вздохнула Ольга Михайловна. — Она очень симпатичная, но страшная лентяйка и болтунья.

— Я бы, на вашем месте, погнал такую в шею!

— Что вы, что вы! Это прекрасная женщина.

— Бесстыдница! — не унимался доктор. — Иметь такие обильные формы и не носить ни лифчика, ни корсета.

— А вы зачем засматриваетесь на женские формы? — погрозила ему пальцем Ольга Михайловна. — Впрочем, мне давно известно, что у вас репутация Дон Жуана.

Он пожал плечами.

— Вы повторяете пошлые сплетни.

— Я шучу. Какое мне дело . . . Каждый пусть живет, как хочет.

— Но, к сожалению, мы все живем не так, как хотим — грустно покачал головой доктор.

— Да, это правда, мы все живем не своей жизнью.

Они оба задумались, каждый о своем.

Сиделка вспомнила, что пора подать пациентке еду. Внесла поднос с утренним кофе, хотя часы показывали время завтрака. Ласково посматривая на больную, она пообещала, что блины выйдут на славу, так как опара всходит хорошо.

Доктор услышал про блины и проглотил слюну. Ни с кем другим, но с Ольгой Михайловной он себе позволял думать вслух:

— Блины я очень люблю, и от борща не отказался бы, к тому же мне не хочется ехать к себе домой в такую стужу.

Сиделка радостно всплеснула руками.

— Вот это чудно! Вы останетесь с нами обедать. Вы удивительно милый и уютный человек, и я страшно рада что, наконец-то, с вами познакомилась. У меня нет никаких болезней и на мне вы ничего не заработаете, но я буду в восторге, если

когда-нибудь вы забредете в мою хату. Я живу очень близко от вас, мы почти соседи.

Он не отвечал, а она все юлила:

— У нас, наверное, будет дружба, потому что в жизни всегда так: начинается плохо, — кончается хорошо, начинается хорошо — кончается плохо, и раз мы с вами поцапались, то, значит, будем душевными друзьями, — она обращалась к спине доктора, но это ее не смущало, а может быть и не замечала его невежливости.

Когда Ольга Михайловна включила рядом стоящий T.S.F., и оттуда полились звуки вальса, толстая сиделка подскочила к доктору и, схватив его за руку, умиленно сказала:

— Ну, не дуйтесь же на меня, добрый человек, и пригласите меня на этот восхитительный вальс.

Он смотрит на нее в недоумении, и слышит смех Ольги Михайловны и ее поощрительное «Ну... ну же!..» Потом, неожиданно для самого себя, обхватил толстую талию и пустился в пляс.

Женщина дышала ему прямо в лицо, и он невольно думал: «У нее желудок, легкие и зубы в абсолютном порядке, чего почти не бывает даже у молодых девиц». Ее обильные формы давили на него упругой массой, и он понял, что лифчик и корсет не изменили бы ее фигуры. Такой она, наверное, была и в двадцать лет, и возраст не разрушил сильных крепких тканей. Как доктор, он ее оценил, как эстет — продолжал гнушаться. Несмотря на толщину, она была легка в движениях,

и он не чувствовал ее веса. В конце концов ритм увлек его, и он получал удовольствие.

В голове Ольги Михайловны, наблюдающей танцующую пару, созрел план и, как всегда в таких случаях, она немедленно начала действовать. Когда вальс кончился, она выключила T.S.F. и сказала:

— Мой друг, вы все же осмотрите мою ногу и пропишите мне какую-нибудь дрянь, а вы, Мария Валериановна, если хотите чтобы доктор с нами пообедал, пойдите в кухню печь блины. Насколько я помню — приемные часы доктора от четырех, а смотрите: уже два часа.

Мария Валериановна запротестовала:

— Ну уж нет! Доктор осланется с нами до вечера; к тому же я уверена, что в такую стужу никто к нему на прием не придет.

— Я тоже так думаю, — согласился доктор.

— Ну, вот чудно! Сейчас подаю обед. Блины будут — пальчики оближете! Борщ с копченым салом, вино, водка . . .

— А вина-то и нет! — сказала Ольга Михайловна.

— Как нет?! А что стоит там, в передней, за дверью?

— Это керосин. Если вам не лень, пойдите купить. Возьмите деньги в моей сумочке.

Доктор вынул свой «гонорар», отложил деньги на метро и сказал:

— Вино на мой счет. Иначе — уйду.

— Шикарный жест! — одобрила Мария Валерьновна. — А на мой счет — пирожные!

Одеваясь она мечтала вслух:

— Мы еще потанцуем... А потом, если хотите, сразимся в картишки.

— Картишки, — это хорошо! — одобрил доктор. — Не сердитесь на меня, что не иду сам за вином... я что-то озяб...

— Сядьте поближе к печке, — посоветовала сиделка. — Что до меня, то мне всегда тепло. Меня сало греет! — и послав воздушный поцелуй Ольге Михайловне, она скрылась за дверью.

Этажом ниже она вдруг остановилась. «Что вино в доме есть — это факт! Эти двое хотели от меня отделаться... и гонят меня на стужу. К тому же с какой радости? Есть у нее свой муж? А я вдова... и доктор — холостяк! Право первенства за мной!.. Не уступлю... о, нет! Но какой предлог — почему вернулась? К черту предлог! Или нет... войду потихоньку... послушаю... если они грешны, то их грех хуже моего». Она поднялась по лестнице, бесшумно отворила дверь... на цыпочках подошла к двери спальни и замерла, вся превратившись в слух.

Сердце ее билось молотом... «Если доктор откроет дверь и увидит меня — все пропало! Скандал... разрыв и позор... позор!.. И его потеряю и ее...»

В спальне царила тишина. Что это значит?

— Вы спите, доктор? — раздался, наконец, голос больной.

Сердце под толстой грудью забилось радостно. «Вы, доктор, — нет слава Богу, я напрасно тревожилась... Надо, пока не поздно, покинуть этот опасный пост...»

— Я?.. Нет!

— Сядьте ко мне поближе, — говорит Ольга Михайловна.

Мария Валерьяновна снова прильнула к двери. От радости она перешла к отчаянию. «Вот она его сейчас начнет соблазнять... эта тихоня... эта загадочная русалка... Но послушаю... в случае если... прерву их rendez-vous...»

Доктор, по-видимому, пересел поближе к больной, и Мария Валерьяновна слышит его голос:

— Что загорелось в этой голове? В этой сумасбродной голове?

Голос его ласковый, и Мария Валерьяновна думает: «Вот как он с ней разговаривает с глазу на глаз».

Ольга Михайловна смеется.

— Никогда не угадаете. — Пари!

Помолчав, она говорит:

— Я решила вас женить.

— Женить? Меня?!

— Ну да, вас! И знаете, на ком? На Марии Валерьяновне.

Что творится с толстой сиделкой? Она готова упасть, так ослабели ее ноги.

— Вы шутите, Ольга Михайловна! На этом мастодонте?!

— Ах! — толстые руки инстинктивно подносятся к ушам.

— Я с вами не согласна. Она толстая, но она не урод.

— Рассказывайте сказки! — смеется доктор.

И от этого презрительного смеха больно сжимается измученое одиночеством сердце. «Уйти... Да, уйти... и забыть свое мимолетное увлечение... Не слышать этих оскорблений... этого смеха...» И все же ей хочется узнать, что скажет Ольга Михайловна в ее защиту.

— Она не урод. Напротив — хорошо сложена, только толстая и нелепо одета. Она мне напоминает статую победы, знаете, эту на мосту, около метро Javel? Все относительно. В былые времена матроны занимали почетное место, и сейчас, в странах как Сербия, «дэбела» женщина на первом плане, а «мршава» — на последнем. Помните выставку 1937 года? Перед Латвийским павильоном была статуя женщины гораздо толще и бесформенее нашей Марии Валериановны. Времена худосочных женщин проходят, на сцене опять появляются амазонки...

— Ну, знаете, — перебил ее пламенную речь доктор, — если вашу толстуху называете амазонкой...

— Она перешла норму, — перебила, в свою очередь, Ольга Михайловна, — но это не трудно поправить. Для чего вам сдалась ваша медицина, если вы не сможете сбавить пациентке тридцать ки-

ло веса?! Я видела, как она танцует — это же перышко!

— Вот это, да! — согласился доктор.

В сердце, за дверью, вспыхнула надежда: «Она его убедит . . . убедит . . . О, милая Ольга Михайловна, чудный, несравненный друг!»

— И знаете, что в ней ценно? — снова слышится голос доктора.— Это ее здоровье. Мы, врачи, так страдаем от дыхания наших пациентов . . . Иногда кружится голова, когда осматриваешь чье-нибудь горло . . .

— Вот видите! — торжествует Ольга Михайловна. — У нее рот свежий, дыхание как горный воздух, и зубы . . . Вы обратили внимание на ее зубы?

— Зубы замечательные! — согласился доктор.

Сдерживая слезы радости, пробирается Мария Валериановна, на цыпочках, к выходной двери.

— Она его убедит . . . убедит . . . — шепчет, и смеется, как не смеялась вот уже 15 лет. «Да, она была всегда толстой, но муж ее любил . . . горячо и страстно любил . . . А потом — уж никто . . . Одни только насмешки над ее фигурой, которой надо сбавить всего тридцать кило веса . . . *всего только* тридцать . . .»

⁂

Пока Мария Валериановна бегает по лавкам, удивляя всех своим радостным видом, доктор, стоя у окна, изучает погоду.

— Снег все валит, нет ему, подлецу, конца! Вашу ручку, дорогая Ольга Михайловна! — подходит он снова к больной. — Ваш ишиас — пустяшное дело. Денька два-три полежите и все пройдет. Марии Валерьяновне привет, и вашему мужу тоже.

— Вы уходите?! А обед?!!

— Друг мой, вы втягиваете меня в неподходящее дело. Ваша амазонка мне никак не нужна, — клянусь вам Аллахом! Пускай себе вдовствует на здоровье!

— Вы большой эгоист! — сердится Ольга Михайловна.

— А вы — сумасбродка! — улыбается он дружелюбно и хлопает ее по протянутой на прощание руке. — Борщ и блины мне, действительно жаль, тем более что я голоден как волк, но Бог с ними! Приношу эти блюда в жертву моей холостяцкой свободе. Об одном мечтаю: чтоб не встретиться с вашей амазонкой!

— Тогда бегите скорей! — советует Ольга Михайловна. — Вы можете с ней столкнуться на лестнице.

— Нет ли у вас другого выхода?

— Увы! нет, но попробуйте подняться этажом выше — там переждете...

— Вот это совет! Никогда бы сам не додумался! Спасибо, и еще раз спасибо!

Взмахнув над головой шляпой, доктор скрылся за дверью, но сразу, на площадке лестницы, наткнулся на Марию Валерьяновну.

— Куда вы?!

— Бегу к тяжело больному . . . — лепечет он, стараясь проскочить мимо нее.

Она загораживает ему путь и спрашивает с подозрением:

— Откуда он взялся?

— Звонили . . . мне звонили . . . или нет — прислали мне «пневму» . . .

Мария Валериановна поняла. Лицо ее, разрумяненное от ходьбы и холода, сразу вытянулось и поблекло.

Доктор протискивается мимо нее к лестнице, а она . . . нет, она его не удерживает, но губы ее шепчут помимо воли:

— Вы придете ко мне, доктор?

Он, не останавливаясь и не глядя на нее:

— Если будете больны — я приду, конечно . . .

Теперь он уже этажом ниже. Движения его свободнее, шаг бодрее. Слышит ее тусклый, лишенный жизни, голос:

— А я . . . я могу . . . прийти к вам? . .

Перегнувшись через перила, она смутно надеется, что он поднимет к ней глаза, но видит лишь серую фетровую шляпу и слышит ответ:

— Вы, конечно, можете прийти, если будете больны . . . Но надеюсь, что этого не случится. Вы ведь очень здоровая женщина, очень здоровая . . .

## МИЛЛИОН

На звонок выбежала Талочка и, увидев Карсавина, остановилась в большом смущении.

— Что с тобой, Талочка?! — удивился Лев Петрович, входя в переднюю и отстраняя за плечо девочку.

Опустив тяжелый сверток на сундук, он снял пальто и ждал что девочка ему ответит, но так и не дождался. «Верно у них гостей много», — подумал он, слыша оживленные голоса, и двигаясь по длинному коридору в столовую. Но тут Талочка кинулась как безумная и загородила ему дорогу.

— Дядя Лева, — бессвязно залепетала она, — я сейчас позову маму, маму позову . . . — и все оглядывалась испуганно, беспомощно и даже вцепилась рукой в карман его пиджака.

Ошеломленный, он схватил ее под мышки, поднял к самому лицу и посмотрел в детские глаза

— Почему ты не пускаешь меня, Талочка? Кто там у вас? что там случилось?

Но девочка, беспокойно отводя глаза, зашептала чуть слышно:

— Подождите, я позову к вам маму.

Он отпустил ее, и она быстро пробежала те несколько шагов, что отделяли его от столовой, где

не прекращался оживленый говор и откуда ложился на пол свет такой уютной полосой.

Анна Андреевна подошла к нему и, приложив к губам палец, сказала шепотом, отводя его в сторону:

— Приехала из провинции ваша . . . ваша жена, и она сидит там . . . Я не могла вас предупредить и просила Талочку караулить ваш приход.

Одну минуту он молчал, стоял бледный, а потом чуждо и холодно взглянул на нее и бесстрастным вежливым тоном спросил:

— Разрешите пройти в комнату?

Она удивилась его тону и желанию, но, быстро справившись с собой, ответила:

— Ну, конечно.

За столом сидела маленькая пожилая дама с очень усталым лицом и озабоченными глазами. Она не видела, что вслед за хозяйкой шел высокий красивый старик, шел прямо на нее — маленькую, задавленную жизнью и горем. Она сначала рассеянно протянула руку, а потом уже подняла глаза, и тогда на бледных ее щеках мгновенно вспыхнул румянец, делая ее почти молодой, и нервно, заметно для всех, дрогнула ее рука в его большой ладони.

Смущенная хозяйка торопливо подвела его к другим гостям и старалась усадить подальше от бывшей его жены и так, чтоб они не могли видеть друг друга, но гордый старик сел рядом с маленькой дамой и обратился к ней с учтивым вопросом:

— Давно ли вы в Париже, Мария Михайловна?

Это была их первая встреча после трехлетней разлуки и первое обращение на «вы».

Женщина уже успела овладеть собой. Она с достоинством и сдержанно ответила и, в свою очередь справилась о нем.

Хозяйка беседовала с дамами, украдкой, смущенно и с любопытством, наблюдая стариков. Талочка, уже успокоенная и по-детски решившая что все наладилось, вертелась, не зная к чьему плечу приткнуться. Ее тянуло сесть на колени к дяде Леве, но своим детским сердцем она почувствовала, что та другая сторона больше нуждается в ласке и уюте, и она подошла к Марии Михайловне и обвила ее шею своими детскими руками.

— Дядя, а вы забыли сверток. Вы что-то принесли, — вдруг вспомнила она и помчалась в переднюю. Оттуда она кричала:

— И как это вы донесли?! Тяжесть такая!

Через минуту она была уже в комнате и захлебываясь докладывала:

— Бутылки, лапка от гуся, нет, — целый гусь, коробка с тортом, я ее продавила и вот крем! — в доказательство она показала руку, с указательным пальцем вымазанным кремом и потом смачно лизнула его языком.

Мать шлепнула ее по руке и сказала, делая строгие глаза:

— Неприлично шарить по сверткам. Марш отсюда! — и выжидательно поглядела на Льва Петровича.

Он тряхнул своей белой гривой, совсем по-львиному, и сказал:

— Это я вам.

— Как?! . Почему?!

Но он уже шел в коридор. Появившись оттуда с пакетом, галантно спросил:

— Прикажете отнести на кухню?

А Мария Михайловна, неуверенно оглядываясь, думала: «Бог ее знает, может быть у них тоже что-нибудь. Люди ведь дурные... Уйти бы скорее!» Она поднялась из-за стола, но влетевшая в комнату Талочка обняла ее за талию, силой усаживая на стул.

— Гусь, шампанское, ветчина, икра! — кричала она в восторге.

И снова попало ей от матери.

— Маша, Соня, Женя, не уходите ради Бога! — обратилась хозяйка к приятельницам, увидев что те собрались уходить. — Сейчас мы шикарно поужинаем и выпьем по бокалу шампанского за выигравшего миллион в лотерею.

— Ах! Ах! — взвизгнули восторженно Соня и Женя.

Нерешительны и озабочены стали глаза Марии Михайловны. «Как быть? Уйти? Остаться?.. как нужно, как нужно поступить, чтобы — прилично, с достоинством?»

И снова подошел он, этот влекущий ее и властный старик, и обратился к ней с почтительным вопросом:

— Надеюсь, вы останетесь с нами?

Она спокойно ответила:

— Конечно. Я ведь пришла к Ане на весь вечер.

На столе появилось целое состояние. Была тут и зернистая икра, и дорогие консервы, и наливки, ликеры и нарядные торты. Одним словом — все то, что покупает наспех внезапно разбогатевший беженец.

Но за столом веселились только трое: Женя и Соня, не знавшие бывших супругов, обе еще молодые и довольно хорошенькие, и, забывшая все на свете, кроме этого «вкусного» стола, Талочка. Анне Андреевне было очень трудно между этими двумя, которых она знала еще в России такими дружными, такими примерными супругами. Казалось чудовищным, что они теперь чужие друг другу, что у них разные жизни, разные планы, и что выигранный миллион принадлежит только ему, а не им обоим, как должно бы быть, если б в мире была справедливость. Анна Андреевна, так сердечно любящая Льва Петровича и до сих пор не осуждавшая его, вдруг почувствовала к нему неприязнь и отвращение. Она избегала встречаться с ним взглядом. Она не понимала, какую муку скрывает он под покровом кажущегося спокойствия. Но бывшая жена его понимала, жалела и болела за него душой, больше — чем за себя. Ведь она прожила с ним целых сорок три года. Еще немного — и оба они склонились бы над

крошечным тельцем их первой внучки, рожденной в муках матерью — их единственной, уцелевшей из шести детей, дочери. Жена его жалела, что дочь отвергла его с презрением, что осудила его безумный поступок в старости и отослала его письмо нераспечатанным.

Внучка была прелестна и напоминала деда. Так же как он, решительно и круто откидывала голову и смело, бесстрашно смотрела большими спокойными глазами. Мария Михайловна хотела ему показать карточку ребенка, которая лежала в сумочке на ее коленях, но было неловко и казалось глупым обращаться к нему с такими интимными делами. Ей стало грустно и тоскливо до слез. Она уже простила ему всю ту боль, которую он причинил ей в тот вечер, когда она так радостно поделилась с ним известием, что они могут уехать в одно богатое имение, где им обоим предоставлялся заработок. Она, тогда так спешила, так спешила домой, спотыкаясь и падая на лестнице, чтоб ему, тщетно искавшему работу, скорее сообщить эту весть. Она так молодо кинулась ему на шею, притягивая к себе его серебристую голову, что не заметила сразу что он не обнял ее, как всегда, но весь выпрямился, как струна и словно стал еще выше ростом, недосягаемее для нее — маленькой, состарившейся и немного смешной. Потом, еще не сняв шляпу, прошла по их убогой комнатке и что-то поставила на плиту, стала что-то прибирать, — вечно хлопочущая, заботливая, любящая и говорила, говорила о новом месте.

Он следил за нею грустными участливыми глазами, но почти не слушал, — понял только, что она предлагает уехать. Перед его глазами упорно стояла тоненькая, стройная Адя, заслоняя эту — возле него, что-то с восторгом говорящую. Он искренне верил в любовь молодой девушки; в ее пытливых глазах, в ее ласковом голосе он черпал свои силы и радость. Он не чувствовал голода, не замечал нищеты, на страшился всемирного кризиса, — и верил, что найдет работу в городе, как нашел неожиданно свое запоздавшее счастье. О жене он старался не думать, чтоб не кололо в груди. Он видел ее очень мало, проводя целые дни в поисках работы, а вечера — у девушки. Жена, когда он поздно возвращался домой, устало поднимая голову с подушки, задавала ему несколько вопросов и исхудалой рукой указывала на стол, где стояла приготовленная для него еда. Ему было совестно к ней притрагиваться. Было отрадно, что оба они уже стары, и она уже не нуждается в его ласках, а лежа рядом с ним только касается его груди и рук заботливо, по-матерински. И потому, что ему не нужно было ее ласкать, он не питал к ней неприязни и не думал о разводе. Впрочем и Адя не хотела его совсем отнимать у «бедной старушки». Он был ей бесконечно благодарен за это, считая ее, в своем ослеплении, благородной и доброй. Ему и в голову не приходило, что девушка не хотела его в мужья, а только коротала с ним время, в ожидании романа с молодым. «Я нищий, я ничего ей не даю, значит любит она меня и ласкает искренно».

Аде же было скучно, она была одинока, бедна и никто ее по-настоящему не любил. Молодые были наглы, циничны и... ей ужасно не везло: все к ней очень быстро остывали. Очевидно замечали, что было в ней нечто приторное и мещански узкое, только влюбленный старик ничего этого не замечал. Он жадно накинулся на ее молодое тело, обещающее столько блаженства, а ей ужасно польстило, что она смогла так разжечь его страсть. Она, первое время даже увлеклась им не на шутку, потом привыкла, потом надоело, но уже так решила, что не будет его гнать до новой интересной встречи или замужества.

Если б он сказал ей, что его жена нашла место в отъезд, — она, не желая себя связывать и брать на себя ответственность, лаской и хитростью уговорила бы его «пока» уехать, но Лев Петрович, не говоря ей, решил, что покинуть девушку, обмануть ее доверие — куда бесчестнее, чем расстаться с женой.

Жена жарила ломтики колбасы; в комнате стоял невероятный чад, и в этом чаду серебристая голова влюбленного старца казалась любящей пожилой женщине достойной всех тех жертв, которые она принесла и готова приносить до последнего вздоха. Ее только удивило, что муж еще не высказался по поводу найденной работы, и она, ласково улыбаясь, остановилась перед ним со своей чадящей сковородкой.

— Что же, Левушка, ты очень рад, что, наконец-то, мы нашли работу?

Ее глаза были так добры, так доверчивы, что он заколебался. Опустил седую голову под тяжестью муки и не заметил, что из глаз его упали слезы.

Жена поставила на плиту сковородку, вытерла фартуком руки и села против него, непонимающими глазами глядя то на его склоненную голову, то на мокрые пятна от его слез. Потом она, тихо и грустно, сказала:

— Живу с тобой, Левушка, сорок три года; знаю каждую твою морщинку, от какого горя она залегла, а вот от какого горя твои слезы теперь — не знаю. Слезы твои я видела раньше только один раз, когда я в муках рожала нашу первую девочку. Ты винил себя тогда, что не можешь разделить мою боль; что она должна бы быть обоюдной, как была обоюдной радость зачатия... Потом умирали дети, сожгли твое родовое имение, брата твоего расстреляли — ты не плакал. И вот, сколько мы с тобой настрадались в изгнании, а ты не падал духом, поддерживал меня, бодрил, и ничто мне не было страшно. Старость пришла, а я и не заметила ее — с тобой. Верила я в тебя, Левушка, всю жизнь, верила как в Бога, и видела тебя насквозь, а вот теперь не вижу... Точно ослепла я от этих твоих слез... ничего не вижу больше...

Он пересилил себя, поднял голову, дал ей взглянуть в свои глаза, но и тогда она ничего не поняла, словно впервые увидела его.

— Не понимаю... — растерянно прозвучал ее голос, — не понимаю...

Она обошла стол, стала за его спиной и хотела, как бывало прежде, взять его голову в руки, но не посмела и отошла.

— Маруся!

Она вздрогнула и почувствовала беду. Этот глухой голос был не его, и весь он уже не *он*, а какой-то другой, которого она испугалась.

— Маруся, я не поеду... Я не могу... Я должен остаться в городе.

Она вскочила и подбежала к нему. Теперь они снова глядели друг другу в глаза, он с решимостью, она с нескрываемым ужасом.

— Должно быть, я с ума сошел... полюбил... люблю... не могу бросить...

Он видел, как у нее то каменело, то смягчалось лицо, как набегали в широко открытых глазах слезы и, как прятались снова.

— Страшно мне за тебя. За *тебя*... понимаешь?! — наконец промолвила она. — Горе в такой любви, только горе! Одумайся! Молись!..

Она, с призывом и тоской, протянула к нему руки, но он отвернулся, хмурый и угрюмый.

— Не могу! Поздно!...

— Ну, тогда иди к ней.

Она машинально потушила огонь в плите и открыла окно, чтобы выпустить чад. Стала на холодном ветру, и он видел как шевелятся ее волосы и рукава блузы. Он хотел сказать, что она простудится, если будет стоять в открытом окне, но по-

думал, что не имеет права показывать заботу о ней, после нанесения ей такого удара, так как теперь она сама по себе, и все общее между ними исчезло, словно его никогда не было. «Надо уйти скорей... уйти к той, и забыть... забыть...» Он тяжело поднялся, взглянул в ее сторону. Она повернулась к нему.

— Уходишь?..

Он молча выдвинул ящик стола, а она, крепко сжав губы, ушла к соседке. Он благодарно подумал: «Это потому она ушла, чтобы не смущать меня». Он нервно собирал документы, кое-что из вещей. Жена не возвращалась, и он не знал как надо уйти. Наконец решил постучать к соседке. Жена тотчас же вышла. Ему было тяжело прощаться на лестнице, но он не смел просить ее вернуться в комнату. Он протянул руку, она подала свою.

— Прощай, Маруся. Храни тебя Бог!

— Будь счастлив!

Когда он спустился по лестнице, она вернулась в опустевшую комнату и горько, безутешно, зарыдала.

***

Адя принадлежала к числу тех натур, которые не скоро разгадываются. Мягкая и ласковая, она казалась немудреной книгой, которую приятно читать в ненастные дни, или — для успокоения разгулявшихся нервов. Она была женственна, удивительно уживчива, создавала уют. Ее моло-

дые любовники называли ее «карамелькой» и даже порвав связь с нею, сохраняли с ней приятельские отношения. Старику же она показалась существом высшего порядка, и он не замечал, что именно прозвище «карамелька» к ней полностью подходило. Он не скоро ее раскусил, но даже и раскусив — оправдал. У нее был большой козырь в руках — молодость. Этим козырем она побила все его карты. Он понял, что в таком неравном сожительстве нужно быть очень снисходительным или зверски жестоким, но ни в первом, ни во втором случае счастливым быть нельзя. Он выбрал снисходительность, потому что был справедливым и разумным и сознавал, что жестокости Адя не заслужила. Она была как его дочь, которую он безгранично любил и не замечал ее недостатков, но она была его женой, его женщиной, и требования к ней были иные. Считалось нормальным, что дочь не помогала матери в хозяйстве, выпрашивала деньги на тряпки и развлечения, уходила каждый вечер веселиться с подругами и молодыми людьми, и что в обществе родителей отчаянно скучала, но когда это делала его жена, он считал себя глубоко оскорбленным, несчастным, и только гордо молчал. Разница между дочерью и молодой женой была лишь в том, что первая никогда не давала отчета в том где была и куда идет, а жена считала своим долгом, впрочем только ради приличия, спрашивать его разрешения пойти в дансинг или кино и всегда в компании какой-нибудь Мани или Сони. Иногда, пересилив себя, она предлагала ему

сопровождать ее, но по блеску ее глаз, по благодарной улыбке, в случае отказа, он догадывался — какой жертвой было с ее стороны такое предложение. Дочь говорила: «Ну, а вы, старички, байбай!» и это не резало ухо, но когда жена ласково трепала его по щеке и спрашивала: «Ну а ты, Левушка, ляжешь спать, не правда ли?» он, скрывая душевную боль, отвечал приветливо: «Да, да, Аденька, я, конечно, лягу спать... *конечно*, спать».

Но и у него бывали моменты дикого бешенства, когда ему хотелось схватить ее за горло, повалить на кровать и бить кулаками это нежное женское тело, к которому так униженно, бесправно и безответно прижимаются по ночам его старческие жадные губы. Хотелось кричать диким звериным рёвом: «Посиди дома с мужем, почисть кастрюльки, поштопай мне носки, поговори со мной о себе, порасспроси обо мне! Не будь как дочь, ведь ты жена, так будь женой, вот как была Мария Михайловна!» Но он знал, что не посмеет всего этого сказать, потребовать, что дико и нелепо сравнивать ее — двадцатилетнюю, хорошенькую, с отжившей свой век старухой, тем более, что и Мария Михайловна в молодости стремилась туда же, в общество ровесников, поразвлечься и показать себя. Но тогда и он был молод, любим и не допускал даже мысли, что жене может быть веселее без него.

Впрочем о Марии Михайловне не надо думать, пусть хранит ее Бог, а эта, молодая, пусть идет веселиться — ее право. В тех немногих домах, где

его принимают с ней, вместо Марии Михайловны, ей скучно, не интересно и она жалуется совсем по-детски: «Ах, Боже, какая радость сидеть со стариками и хлебать пустой чай?! Левушка, милый, ты уж меня не неволь, ходи туда без меня». И она права, бесконечно права. «Со стариками»! У него и у нее разные общества. Там где весело ему — скучно и тоскливо ей; там где весело ей — чуждо, неуместно ему. В его обществе молодежь к нему почтительно равнодушна, это дети друзей и знакомых; в ее обществе он бесцеремонно загоняется в угол с какой-нибудь заблудившейся теткой, или служит мишенью для насмешливых двусмысленных взглядов молодых друзей Ади. Да и она, вероятно, стесняется его. О, как невыносимо все это! Как унижены его седины, как он смешон и жалок! И зачем он позволил себе это незаконное счастье? Оно обратилось в источник ни с чем не сравнимых страданий.

Теперь он выиграл миллион. Для чего ему?.. Адя цепкими пальцами вцепилась в кредитные билеты. О, она точно знает, что сделать с деньгами, Она купит, прежде всего, автомобиль. Но для чего *им* автомобиль? *Им*, конечно, не для чего, но *ей*... Недаром она так мечтала о нем: «Своя машина, самой управлять». *«Самой, одной?..»* «Что же, она будет кататься и одна».

Он пьет шампанское и думает об Аде. Вот они сегодня в разных домах. Каждый у *своих* друзей. Там, где она — весело, шумно... А где она?... Он, конечно, точно не знает. Не проверять же ему, не

шпионить. Сказала — у Мани. Знает ли он эту Маню? Вряд ли! Какие-то иногда забегают, шепчутся, хихикают, прячут от него лукавые улыбки, блеск молодых глаз. И она с ними! Где она сейчас? Пьет, наверное, шампанское в каком-нибудь кабачке с Маней, Соней, Колей, Сашей... Какой-нибудь из этих юношей, вероятно, нравится ей... Такая молодая, такая женственная... Ночью она осторожно отодвигается к стенке от его рук. Бог с ней!.. Он все реже трогает ее. Противно, видимо, ей, надоело... Бог с ней!.. Жена, а словно дочка. А вот эта, Мария Михайловна, печальная и озабоченная — это настоящая жена! Да, да — жена настоящая. Только... он ее бросил. Не пожалел, не пощадил ее старость!

У нее было нежное миниатюрное тело. Он хорошо помнит. Он носил ее на руках, как ребенка, и качал как в люльке. Такое было маленькое изящное тело. Оно завяло от его жарких объятий, состарилось, родив ему шестеро детей, утомилось от нужды и лишений, И он бросил его!!! Как вампир, жаждущий крови, он присосался к новому, свежему телу, высосав старое. «Старый вампир!» — подумает он о себе. И теперь у него с Адей миллион... а у нее — ничего. Обтрепанное платье и туфли с латками... Поделиться с ней? Нет, она не примет, это он уж наверное знает. Она такая гордая. А если половину и... его возвращение?.. А как же Адя?! Вторую женщину оскорбить, бросить?! Она-то, может быть, и рада будет, но только... имеет ли он право? Надо спросить ее, вот

эту маленькую; она мудрая, она все поймет. Он, Лев Петрович, выйдет вслед за ней и непременно спросит. Что она ответит?.. Сорок три года он прожил с ней, но теперь он не знает, что она ответит ему, что посоветует.

В передней раздался звонок, резкий, отрывистый... Талочка побежала открывать дверь. Молодой человек в дверях — бледный, дрожит мелкой-мелкой дрожью. (Что за день приключений!) Она деловито спрашивает, кого ему нужно?

— Карсавина... Льва... Петровича...

Талочка мчится обратно в столовую, дергает за плечо дядю Леву.

— К вам.

Он встает и направляется в переднюю, а вслед ему подвыпившие дамы бросают комплименты:

— Какой красивый старик!

Хозяйка незаметно для Марии Михайловны показывает глазами дамам на нее — предостерегает. Но те не видят знаков, не понимают.

Женя говорит:

— Мне он нравится; я бы вышла за него замуж; он лучше молодого...

Мария Михайловна вздрагивает и настораживается. Соня добавляет мечтательно:

— И у него миллион... миллион... Что же, он женат?

— Женат, — смущенно отвечает хозяйка.

— Талочка! — раздается надтреснутый, став-

ший каким-то незнакомым, голос Льва Петровича.

Талочка бежит к нему и слышит:

— Позови маму!

Но она уже тут, — поспешила вслед за дочерью. Молодой человек говорит:

— Аксидан... аксидан... очень серьезно... отвезли в госпиталь.

— С кем?.. Кого?..

Лев Петрович уже в пальто, уже обматывает шарфом шею. Бросает хриплым чужим голосом:

— С Адей.

— С madame Карсавиной, — одновременно говорит молодой человек.

Нервная Талочка испугана событиями. Она кричит — почти в истерике. Мать ее успокаивает. В переднюю прибегают дамы, спрашивают, мечутся. Высокий красивый старик уже уходит. Его глаза ищут глаза Марии Михайловны и как-бы спрашивают: «Как нужно? как?»

«Неси, неси свой крест... Иди... Твое место при ней», — отвечают глаза жены.

На столе в столовой целое состояние, но никто ни к чему не притрагивается. Все приуныли, задумались, Талочка, вздрагивая, прильнула к груди матери...

А быстрое такси мчит седого старика мимо ярких огней, нарядной толпы, дорогих ресторанов в неизвестность. Мчит к новому горю, новому испытанию, может быть, — к возмездию.

## В ТУПИКЕ

Прошел уже месяц со времени возвращения Сергея Петровича Игнатьева в родной город, откуда он был выслан за свои политические убеждения. И вот он ежедневно посещает Ветлугиных, и каждый вечер, возвращаясь от них, чувствует острую душевную боль. «Какие перемены за эти пять лет, — думает он горько, шагая по темным улицам города. — Володя счастлив несомненно, ведь Надя это клад, подобную ей — трудно найти. И какая она теперь стала серьезная и грустная, избегает остаться со мной наедине, боится, по-видимому, объяснения. Неужели ничего, ничего не осталось от прежнего? Нет, осталась маленькая Надя, наше общее дитя, с моими чертами, но она не знает, что я ее отец, и так равнодушно смотрят на меня ее синие глаза, а глаза ее матери так упорно не встречаются с моими . . .

Если она разлюбила меня — зачем писала мне в течении этих томительных пяти лет такие теплые сердечные письма, в которых так ярко проскальзывало, между строк, ее прежнее горячее чувство? Зачем? Я, может быть, забыл бы ее, не возвращался бы сюда для того, чтоб страдать

глядя на ее семейное счастье, на ее заботу о муже, о ребенке, жать Володины руки и быть с ним на «ты». Так тяжело обманывать старого друга, красть у него жену... Право, мне легче было бы убить его, чем смотреть в его правдивые, доверчивые глаза. Удивительные создания женщины! Как Надя, с ее воспитанием, нравственностью, с ее взглядами на жизнь, на религию, не задохнулась тогда, в те безумные месяцы, деля себя между мною и мужем? Где было чувство? Безусловно на моей стороне, а на той стороне что было? жалость? Она явно страдала, но почему жила в таком угаре и не искала выхода? А теперь что? любит кого? Меня или Володю? Я должен ее спросить, мое состояние делается, наконец, невыносимым! Завтра... да, завтра спрошу ее... и если она будет молчать, уеду отсюда и никогда больше не вернусь».

Сергей Петрович уже месяц ведет с собою подобные разговоры возвращаясь в свою неуютную, холостяцкую квартиру, и засыпает с твердым решением, что «завтра» он обязательно спросит Надежду Федоровну, но появившись в Володином «гнездышке» и очутившись перед Надеждой Федоровной, он не знает как начать этот роковой разговор. Она, так горячо им любимая, при встрече кажется ему такой чужой, такой далекой, словно правда никогда ничего не было, словно они только что познакомились.

Наступил, однако, момент, когда он решился

покончить с сомнением и начать строить новую жизнь в зависимости от ее ответа.

Надежды Федоровны не было дома. Прислуга сказала, что «барыня сейчас вернутся», и он прошел в гостиную. В соседней комнате слышно было мяуканье котенка и веселый детский смех. «Надя в детской — пойду на нее взглянуть», — подумал он и открыл дверь.

Большие синие глаза поднялись к нему навстречу и в них отразился неподдельный страх. «Как она меня боится!! — подумал с горечью Сергей Петрович. — До сих пор еще не привыкла ко мне». Но когда он обратился к ней с каким-то вопросом, девочка, схватив котенка, убежала из комнаты. «Странная антипатия», — вздохнул он, возвращаясь в гостиную.

Он рассматривал альбом с фотографиями, как вдруг раздался звонок. В передней слышны были голоса. Он различил голос Надежды Федоровны. «Как хорошо, что она одна», — подумал он, собирая из всех углов свои разбросанные мысли.

Надежда Федоровна вошла в гостиную с приветливой улыбкой. Он встал ей навстречу и прикоснулся губами к ее руке.

— Вы сегодня рано пришли, — улыбнулась она, — Володя еще не вернулся.

— Надежда Федоровна! — решительно начал он, но слова застряли у него в горле.

Она испуганно взглянула на него своими карими прелестными глазами, и по ее бледному лицу пробежала нервная дрожь.

— Надя! — подошел он к ней и взял ее бессильно повисшую руку. Только сейчас, при дневном свете, он увидел как она изменилась: маленькое лицо было настолько бледно, что каждая жилка была заметна, а большие глаза казались огромными от темных кругов. И губы были бледные, эти некогда страстные, дышавшие жаром губы...

— Надежда Федоровна, вы больны? Надя, ты больна? — спрашивал он, глядя на нее с тревогой.

Ее глаза впервые надолго остановились на его лице.

— Не мучьте меня... — прошептала она чуть слышно.

— Ты звала меня. Зачем ты писала мне туда, в изгнание? Быть может я забыл бы о прошлом и нашел бы хоть призрак счастия?

— Я не могла иначе...

— Надя, ты любишь меня по-прежнему; так почему же ты мучаешься, почему не пойдешь туда, куда влечет тебя сердце?

— А они?

— Кто — они?

— Володя... Надя...

— Надя моя! Она — дитя нашей взаимной любви. Он отдаст тебе ее.

— Я не могу отнять у него всё: и себя и Надю. Это его убьет.

— Но ведь Надя моя...

— Да, твоя, — чуть слышно прошептала она, — но он не знает этого, и Надя так привязана к

нему, а он... ах, Сережа, он любит нас обеих и верит мне...

— А ты? любишь ли его?

— Не знаю, — тихо прозвучал ее голос.

— Это безумие! — вскипел он. — Такое раздвоение возможно лишь некоторое время. Двойная любовь не длится годами. Или ты любишь Володю, или ты просто боишься общественного мнения и не хочешь пойти со мной, с человеком, который любит тебя так серьезно и с которым связывает тебя больше чем алтарь — тебя связывает со мною наш общий ребенок!

— Который так боится тебя! — сказала она.

— Боится? А разве ты старалась ему внушить ко мне симпатию? разве ты замолвила за меня словечко? Надя, послушай! Ведь, в сущности, не в ней дело, не в этой крошке — человека ничего не сознающего, а в тебе.

— А Володя?

— Снова Володя? Ну, так выбирай: Володя или я?

Он встал перед нею бледный и гневный:

— Долго ли ты будешь мучить меня? Нравится ли тебе жить в таком омуте? Это безумие! На что ты похожа? Ты тень, а не женщина. Порви узы, если хочешь жить, а не тлеть в земле. Или скажи мне, что я тебе не нужен, и я уйду, тебя не виня; я даже не убью себя, чтоб не лечь бременем на твоей и так больной совести! Но скажи хоть раз, что хочешь выбраться из этой ямы, полной обма-

на и лжи, и я тебе помогу! Время пройдет — ты забудешь о том, что так мучит тебя сейчас. Ты будешь счастлива... — он притянул ее к себе на грудь и продолжал: — Перестань колебаться! перестань! Ведь мы оба гибнем для спокойствия одного человека. Володю и я люблю, а ты заставляешь меня играть роль подлеца!

— Сергей! — жалобно вскрикнула Надежда Федоровна.

— Надо нам хоть раз трезво взглянуть на наши отношения: я ненавижу его в то время, когда он касается тебя рукой; когда он тебя целует, я готов его задушить вот этими руками, которыми пожимаю его ладонь. А как я себя презираю! Надя, решись! Кончим раз навсегда: или он, или я!

Он стоял и не видел, что чьи-то синие глаза смотрят изумленно на обоих, стараясь что-то понять, на что-то решиться. Наконец, крошечная фигурка, оторвавшись от двери, подбежала к Надежде Федоровне и спросила:

— Мама, что хочет от тебя этот злой дядя? почему он на тебя кричит?

Надежда Федоровна с грустью взглянула на Сергея Петровича и сказала ребенку:

— Дядя Сережа не злой! он очень хороший, и ты должна его любить...

— Почему? — девочка перевела удивленный взгляд на Игнатьева.

И никто из них не решался сказать этой крошке, почему она должна любить этого чужого, не-

симпатичного ей человека, который не замечал ее в течение месяца и ни разу не приласкал.

***

Вечером, как всегда, все собрались в столовой за чаем. Владимир Николаевич был в особенно хорошем расположении духа. Его серые глаза так радостно блестели, когда он глядел на жену, что Сергею Петровичу больно было за него и хотелось уйти, не нарушив счастия этого человека. Но ведь Надя страдает, это ясно! Он должен ее вырвать отсюда. А не будет ли это для нее хуже? не разрушит ли это окончательно ее здоровье?

Он, как врач, понял, что Надя серьезно страдает болезнью сердца, и знал, что причина болезни — он. А что, если он ее убьет, вместо того, чтобы воскресить? «Уйти! уйти!» — подумал он, глядя, как игравший с девочкой Владимир Николаевич, притянув жену к себе, обнял ее талию. И что-то хорошее, сердечное промелькнуло на лице Надежды Федоровны, и ее голова невольно прижалась к плечу мужа. Три пары глаз: серые, карие и синие, струили любовные лучи, и только одна пара, позабытая в эту минуту, не присоединилась: ей не было там, в этом кругу места . . .

Он остался глядеть на них, на этих трех, которых любил, но от которых был так далек сейчас, со своими мыслями и планами. Он даже согласился, когда Владимир Николаевич предложил ему

остаться ночевать ввиду плохой погоды. И желая «спокойной ночи» Надежде Федоровне, он с трудом удержался, чтобы не вырвать ее из объятий мужа, не отбросить последнего далеко от его Нади... его Нади... И когда закрылась дверь спальни, он как дикий, раненый зверь, нервными шагами мерил гостиную, где он остался один, на всю ночь один, и прислушиваясь к каждому шороху за стеной скрежетал зубами. «Проклятие! Если нам дана возможность любить чужую жену, то почему нельзя любить ее открыто, не боясь никаких трагических, а часто комических, последствий? Глупо всё, безконечно глупо! Люди создали какие-то рамки и, задыхаясь в них, тайком, трусливо оглядываясь, выходят за пределы так называемых «границ». А впрочем... если бы не было рамок, которые создала культура, то на каждом шагу были бы самые невообразимые сцены. Вот, например: что сделал бы я сейчас, если бы не чувствовал необходимости втискивать свои бурные желания в границы рамок? Надя, которую так люблю я, и Володя, сделалась бы жертвой наших физических потребностей. Впрочем сейчас она разве не жертва? Конечно, да! только жертва добровольная. Ее физическая сторона не страдает, но зато страдает моральная. Вот результаты созданных культурой рамок. А как лучше? Право, трудно решить! — мелькали беспорядочные мысли в голове Сергея Петровича.

Он устал и, сев в кресло, стиснул виски руками. Как безумный глядел на дверь, которая от-

деляла его от спальни, где сейчас его Надя лежит раздетая, и тот другой ласкает ее красивое тело, а он, Сергей Петрович, ничего не может ему сказать, не имеет права протестовать. Как так не имеет права? ведь он ее любит? — мелькнула у него мысль, и та же мысль, побежав дальше, сказала, что и Володя любит, следовательно, выходит все то же, что рамки необходимы, в противном случае нелепые дикие сцены из-за обладания любимым существом испортили бы жизнь совершенно и уничтожили бы то чувство, которое в нас воспитала культура, чувство называемое «любовью» иначе просто культивированную страсть. «Однако, что же дальше? — задал он себе вопрос. — Надя не дала мне определенного ответа. Бросить Володю не хочет — жаль! Оттолкнуть меня — не в силах. Что же будет дальше? Уж, во всяком случае, на прежние подлости я не согласен, да и она, она теперь иная, делить себя не станет. Какой же выход из положения? Безумие!» — шептал он, ожесточенно ломая пальцы — «безумие! безумие!»

* * *

— Послушай, Володя, — сказала Надежда Федоровна войдя вместе с мужем в спальню, — послушай...

— Ну, ну, слушаю тебя, моя крошка! — ласково сказал он, обнимая ее талию.

Она высвободилась из его объятий и сказала, глядя на него в упор:

— О таких вещах не говорится в объятиях мужа.

— О чем же ты будешь говорить? — спросил он, сильно побледнев.

— О тебе, обо мне, о Сергее Петровиче.

— О Сереже?

— Да, о нем.

— Нет, Надочка, погоди, я не хочу из твоих уст слышать . . . Я сам тебе скажу . . .

Он подвел ее к кушетке и сел рядом с ней.

— Ты любишь Сережу ты любишь его давно . . . Теперь мне все понятно.

Он с трудом перевел дыхание и нагнулся к ее опущенной голове.

— Правда? — спросил он дрожащим голосом.

— Правда, — ответила она робко.

— Ну что ж мы теперь будем делать? — растерянно прозвучал его голос, и судорога пробежала по его лицу.

Она тихо заплакала, прижавшись к его плечу. Он гладил ее волосы и повторял задумчиво и скорбно:

— Бедная, бедная детка! Ну, не плачь же, Надочка, не плачь, родная!

— Какой ты хороший! — шептала она в слезах. — Я скажу тебе . . . скажу все . . .

— Не надо не надо! — повторял он испуганно. — Не надо говорить, голубка моя, ведь я уже знаю все . . .

— Нет . . .

— Нет, знаю! — быстро перебил он ее, точно

чего-то избегая. — Ты любишь Сережу и ты уйдешь к нему? Хочешь, я позову его? он здесь...

— Нет, нет! — вдруг испугалась она. — Я не оставлю тебя...

Он точно воскрес.

— Значит ты любишь меня больше? — воскликнул он радостно.

— Не знаю... но не могу... от тебя уйти.

— Нет, Надя, не надо мне такой жертвы! — встал он, весь выпрямившись. — Я хочу тебя видеть счастливой, я жертвы от тебя не приму.

Она поглядела на него долго и внимательно.

— Примешь, ты жить без меня не сможешь.

Он весь опустился, съёжился и присел на кушетку:

— Да, это правда: без тебя я жить не смогу. Но подумай о себе, о своем счастье.

— Нет, своего счастья я строить не буду на твоем несчастьи! — решительно прозвучал ее голос.

— Счастье одного строится всегда на несчастьи другого, — грустно возразил он. — В таких случаях нужно кому-нибудь пострадать. Вас двое — я один. Нет! нас тоже двое! у меня останется наша маленькая Надя, ведь правда?

Она боролась с собой.

— Если я уйду к нему, — он увезет меня далеко от тебя и от Нади. Он будет бояться, что я снова к тебе вернусь; а без Нади я жить не смогу...

— Послушай, — сказал он ласково, но твердо, — был момент, когда я только думал о тебе, о том,

что тебя потеряю. Мне безумно страшно было бы остаться одному, и я, наверное, жить бы не остался, но я забыл о нашем ребенке. Как хочешь, Надя, я люблю тебя, но утопающий хватается за соломинку... Хоть искорку счастья я оставлю для себя — Надю я тебе не отдам!

— Надя не твоя! — вырвалось у нее против воли. Она испугалась своих слов и вся съёжилась в комочек, закрыв глаза.

«Вот он сейчас убьет меня», — мелькнуло в ее голове, и ей странным показалось его длительное молчание. Открыв глаза, она робко, не шевелясь, взглянула на него.

— Володя! — испуганно схватила она его руку.

— Не твоя... не твоя... повторил он двукратно и... улыбнулся.

— Володя! Это неправда! — зашептала она, целуя его руки, но он глядел бессмысленно большими, стеклянными глазами.

«Ужели он с ума сошел?» — мелькнула у нее мысль, и она трясла его руки, плечи, заглядывая с тревогой в его глаза.

— Володя! прости! Это все неправда! скажи слово... одно только слово, что слышишь, что понимаешь меня...

— Надя не твоя! — скорбно прозвучал его голос, но улыбка не сходила с лица.

— Что я сделала! что я сделала! — крикнула она обезумев, и на крик ее, испуганный и бледный ворвался в спальню Сергей Петрович.

Минуту он стоял ничего не понимая, и глядя

как Надя катается по ковру, вся растрепанная, искаженная, безобразная от горя. Но скоро он понял все, как только взглянул на тихую, скорбную улыбку Владимира Николаевича. Он подошел к Надежде Федоровне и взял ее руку. Она с силой оттолкнула его.

— Прочь, прочь! — закричала в диком ужасе, и вскочив снова бросилась к мужу.

— Володя! — она схватила его за плечи, и, повалив его на кушетку, начала покрывать его лицо поцелуями.

Он отстранил ее и встал, слегка шатаясь.

— Надежда Федоровна! — обратился к ней Сергей Петрович, и сильные руки скрутив ее бьющуюся в припадке, вынесли из спальни.

— Послушайте меня, послушайте, родная! — шептал он, склонившись к ее лицу. — Успокойтесь, ничего страшного нет, я вас уверяю!

Она дико смотрела на него, стараясь понять его слова.

— Он с ума сошел? да? Отвечайте! И мы убили его . . . мы погубили . . . Вы и я — да?!

— Нет! он будет жить . . . будет здоров . . . Это все пройдет . . . это шок . . . нервный шок . . .

Она прошептала:

— Ах, зачем ты здесь, зачем ты не ушел сегодня?

— Молчи, Надя! К чему повторяешь, что удерживает меня возле тебя? Теперь уже не время говорить об этом . . . Успокойся, и я уйду . . . навсегда уйду . . .

— Да, уйди! — сказала она почти враждебным тоном, и вдруг упав на колени и закрыв лицо руками стала громко молиться. Он прислушался: Кому молилась она такими странными словами?

— Не тронь его... отойди! Возьми лучше меня, или, — она запнулась, но Сергей Петрович понял, что еще момент — и она предложит в жертву Разрушительной Силе, *взамен* жизни мужа, его, Сергея, жизнь.

## «ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ...»

Они встретились когда еще была зима. Ганецкая — с истерзанной, от гнета большевитского, душой; Корнецкий — утомленный от напряженного труда в пользу Добровольческой армии.

Они встретились в одном из городов Северного Кавказа. Рядом с ее домиком, в большом красном здании, расположился военный лазарет, где Корнецкий был старшим ординатором. Туда, в этот лазарет, она несла последние крохи своего достояния.

Ее серые уставшие глаза с грустью останавливались на лицах раненых, а бледные уста шептали слова ласки и утешения.

Ее появления ждали, как весну, как солнце, и она, зная это, не лишала раненых этой маленькой радости.

Она привыкла к лазарету, к его угнетающей атмосфере. Ежедневно она писала мужу на фронт:

«Милый Андрей! Снова я была в лазарете и с грустью думала о тебе. Почему ты не здесь, мой родной, почему я такая одинокая? Все же мне лег-

че между ними, не так пусто на душе и временами я даже забываю пережитое». И она, действительно, находила утешение в этих душных палатах, где стоны умирающих, где крики раненых сливались в один кошмарный гам со смехом сиделок и бранью санитаров. Ее слух уже привык к этой странной музыке; она уже не вздрагивала ни от стонов, ни от грубой брани и не возмущалась душой при звуках смеха на этом «полукладбище». Она находила оправдание этому контрасту и потому ее сердечное отношение распространялось на всех: и на тех, кто страдал телом, и на тех, кто страдал душой и даже на тех, кто вовсе не страдал и не понимал страданий.

Корнецкому много говорили о доброте и сердечности Ирины Павловны Ганецкой; в особенности в разговорах раненых он улавливал нотки искренней любви и благодарности, но его уставшая, утомленная душа стала холодной и безразличной ко всему, что не касалось лазарета и его интересов.

Он редко ее встречал и, официально поздоровавшись с нею, спешил, все спешил окончить, никогда нескончаемую, возложенную на него задачу.

И вот однажды, Ирина Павловна сказала ему, что желает поступить в лазарет в качестве сестры-волонтерки, и он, зная какой глубокой симпатией больных пользуется эта женщина, быстро и радостно согласился. Теперь они чаще встречались: оба уставшие, с печальными от пережитого душами, с лицами без улыбок, со взглядами полными

грусти. Встречались у коек тех, кому несли искры любви, кому дарили свои силы и время.

***

Холодная зима уже сбросила свой белый покров и, встретившись с юной весной, уступила ей дорогу. «Живи, ты теперь, и радуй сердца людей, уставших от моих метелей и холода!» — сказала зима. Юная весна вступила в свои права, развесив на голых печальных деревьях липкие почки и разбросав на пустых равнинах зеленые ленточки. Она уже убрала садик, окружающий дом Ирины Павловны, праздничной зеленью и развесила кисти благоухающей сирени, струила теплые солнечные лучи и серебристо-синие полосы луны в открытые окна ее комнаты, на страже у ее балкона посадила певца-соловья, но грустная душа Ирины Павловны не замечала прелестей природы...

Она по-прежнему целые дни проводила в душных стенах лазарета, где ничего наружно на изменила чародейка весна. Те же стоны умирающих, крики раненых, смрадный запах крови и приторный запах лекарств...

Но весна все же поселила улыбку в карих глазах Корнецкого. Он по-прежнему много работал, но на его бледных щеках исчезла душевная усталость и он стал красивее и моложе. Неясная радость волновала его грудь и разливала по всему телу сладкую истому. Он стал внимательнее присматриваться к окружающему и потому заметил

грусть Ганецкой. Как-то однажды он зашел к ней по делу. Она сидела у окна, уставшая от ночного дежурства, и бездумно глядела в даль сада. Он впервые видел ее в домашней обстановке.

Как врачу, ему не нравился ее цвет лица и темные круги под глазами.

— Вы плохо выглядите, Ирина Павловна, — сказал он, внимательно и сердечно глядя на нее.

Она улыбнулась, но ничего не ответила.

— Вам надо побольше гулять, отдохнуть от работы. Вы слишком много работаете, — продолжал он. — Вот посмотрите, как красиво в вашем саду, выйдемте погулять немного.

Он впервые вел с ней частную беседу, и потому его предложение удивило ее.

— Нет. Надо пойти в лазарет, Олег Петрович, — сказала она, усталым голосом.

— Вы же сегодня ночью дежурили, — возразил он. — Зачем же вам в лазарет идти?

— Надо посмотреть, что в палате . . .

— В палате Мария Ивановна. Вы ведь можете на нее положиться, Ирина Павловна? Мария Ивановна — опытная хорошая сестра, и вы напрасно беспокоитесь за своих больных.

— Да. Но все же . . . мне скучно без палаты . . .

— Ну, хорошо! Пойдемте вместе, только условие: долго не задерживайтесь и не затевайте никакой работы. Я, как ваш палатный врач, ваше начальство, протестую! — сказал Олег Петрович. — Хорошо?

— Хорошо! — слабо улыбнулась она и надела шляпу.

Они вышли из дому и, идя по дорожке сада к калитке, он задержался и сказал:

— Посмотрите, как красиво вокруг, а вы такая грустная, печальная.

Он сорвал ветку белой сирени и прижал ее к лицу, наслаждаясь ароматом.

— Я не видел у вас ни одного букета, хотя ваш сад полон цветов. Почему? — спросил он.

— Я не люблю сорванных цветов — они мертвые.

— Не любите мертвого, так почему вы такая... — он запнулся.

— Хотите сказать — мертвая? — докончила она улыбнувшись. — Потому что на душе невесело, не по-весеннему.

Их взгляды на мгновение скрестились. Печальная душа Ганецкой и, воскресающая к жизни, Корнецкого поняли без дальнейших объяснений друг друга. Как-то сразу в их сердцах заструились теплые лучи и легкий румянец розовой дымкой покрыл лица обоих...

Выйдя на улицу, они впервые заговорили о себе, о своем прошлом, и хотя сказано было немного, но уже в палате, стоя в сотый раз рядом, они впервые почувствовали присутствие друг друга. До этого момента они замечали друг друга постольку, поскольку их связывали интересы лазарета. И впервые у Ганецкой явилось желание —

выйти снова на улицу и продолжать прерванный разговор.

Она рассказала ему, что пережила во время пребывания в городе большевиков, как страдала, не зная о судьбе мужа, как томится она в разлуке с ним, и как лазарет спасает ее в тяжелые минуты.

От него она узнала, что он тоже пережил немало, что семья его только недавно нашлась, а до этого, ложные известия, якобы всю семью убили большевики, привели его в состояние глубокого безысходного отчаяния. Их глаза часто встречались и много искренней симпатии и сочувствия было в них...

***

Ирина Павловна в белом весеннем костюме, в белой фетровой шляпе, в высоких ботинках, хрупкая, изящная, с тонкими чертами лица с темными тонкими бровями над серыми глазами, с легким румянцем на щеках; юная, точно девушка, показалась Корнецкому такой милой, такой симпатичной. Он, говоря, глядел на нее и поневоле думал: «Славная девочка, маленькая женщина».

Ему хотелось сказать ей эти ласковые слова, точно правда она была девочкой, а не дамой, и он с трудом сдерживался, чтобы не взять ее маленькую руку и не сжать в своей большой ладони. С этого момента они все больше привязывались друг к другу.

Работали они по-прежнему много, и даже, чувство Корнецкого по отношению к больным и забота Ганецкой, соединившись, получили больше смысла и силы.

Высокая тоненькая Ганецкая в белом халате и косынке, с появившимся на щеках румянцем, заставляла многих любоваться собой. И если раньше ее грустное лицо не возбуждало страсти в раненых, то теперь происшедшая в ней перемена, вернувшая ей красивую женственность, возбудила страсть многих мужчин.

С проснувшейся чуткостью женщины она замечала это, и недовольство росло в ее душе. В ее отношения к раненым начала вкрадываться осторожность, от чего ее гордая душа немало страдала. Она по-прежнему с глубокой сердечностью и вниманием относилась к раненым, но минуты отдыха, проведенные в обществе Корнецкого, доставляли ей больше удовольствия и духовного наслаждения, чем ее работа в лазарете.

Она очень скоро начала замечать, что ее отношения к Корнецкому и его к ней, начинают принимать более интимный характер. Ей не нравилось, что она так открыто делится с ним своими переживаниями о прошлом, что читает ему письма от мужа и свои, которые она мужу пишет. Она всей душой начала протестовать против этой новой любви, вытесняющей из ее сердца образ мужа, но ее внутренняя борьба так ни к чему и не приводила. Корнецкий сделался ежедневным гостем в

ее доме, где она жила только со своей старой теткой, Анной Ивановной.

Ганецкая, несмотря на свои двадцать лет, и будучи во многом еще ребенком, понимала, что частые встречи с человеком, который пользуется ее симпатией и в свою очередь отвечает тем же, не приведут ни к чему хорошему. Думая о нем, она не забывала, что у него семья, известный нравственный долг, но она все сильнее, упорнее рвалась к тому, чтобы возбудить в нем чувство любви. Ей не было жалко ни его жены, ни детей, ни его самого, и вся ее борьба заключалась лишь в том, чтобы удержать себя и своего мужа от неизбежной гибели. В то же время она все сильнее и сильнее привязываясь к Корнецкому, быстрыми шагами шла к тому неизбежному, к тому, что она называла гибелью. Они ни слова не говорили о том чувстве, которое их связывает такими сильными цепями, отдаляя как его, так и ее от прошлого, от долга перед семьей, ничем не обнаруживали этого чувства, но в душах их все рельефнее вырисовывалась картина будущего.

***

Корнецкий сразу, но очень сильно и с болью, почувствовал свою любовь к Ирине Павловне. В его душе произошла борьба, но борьба ничего не имеющая общего с характером борьбы Ганецкой.

Он сразу решил что они оба, столько пережившие, и как бы освященные этими переживаниями, не имеют права затевать легкую, бесцельную игру в любовь с неизбежным обманом близких людей.

Он решил порвать со своим прошлым для Ирины Павловны и, вместе с признанием, предложить ей руку. Он понимал, что намеченное им, если будет выполнимым для него, может оказаться невыполнимым для Ганецкой и потому давал время как ей для неизбежной борьбы, так и себе — для полнейшего укрепления созревшего решения. Периода «избегания» с его стороны не было, потому Ирине Павловне, иногда желавшей избегать с ним встречи, все труднее было справляться с растущим чувством.

С каждым днем все более и более она сознавала, что «прежнее блекнет в ее глазах, что «новое» и сильное врывается в ее душу против ее воли, что карие глаза Корнецкого, в которых она читала к себе любовь и созревшее, непоколебимое решение, имеют на ее волю огромное влияние, парализующее все ее действия, и что время для бегства, которым она хотела спасаться, уже ушло безвозвратно. Ее все больше и больше стало тянуть в лазарет в силу того страха, который в ней возбудило ее безволие, где она хотела в напряженной работе найти временное забвение... Временами она достигала цели и была прежней: спокойной и ровной, но стоило ей только уйти из лазарета, как ее сно-

ва подхватывала волна безволия, и она с нетерпением ожидала прихода Корнецкого.

***

Ирина Павловна давно не писала мужу, точно забыла о нем, и потому долгое молчание с фронта ее не волновало, как однажды к воротам лазарета подвезли раненых.

Ганецкая была дежурной. Она, в сопровождении санитаров с носилками, подошла к стоявшим повозкам.

В одном из раненых она узнала мужа. Сильно побледнев и дрожа всем телом она схватила его за руку и впилась обезумевшим взглядом в его почерневшее лицо с закрытыми глазами.

— Андрей! — вскрикнула она испуганно и громко.

— Ты ранен, Андрей? — спросила она, трясясь как в лихорадке.

Он показал на грудь. Она зашаталась в глазах запрыгали красные пятна, но мысль, что ее мужа грубо на руки подхватят санитары и причинят ему боль вернула ей сознание. Она осторожно и бережно сама помогала переносить раненых, и когда дошла очередь до ее мужа, она умоляюще взглянула на санитаров, чтобы они не причинили ему боль.

Грубые санитары, бывшие красноармейцы, сочувственно взглянули на ее бледное испуганное лицо и бережно, стараясь вложить в свои мозолис-

тые, большие ладони, как можно больше нежности, переложили на носилки «белого офицера».

Она шла за носилками, придерживая рукою изголовье, вздрагивая при каждом толчке, и в ее душе одна за другой рвались нити ее чувства к Корнецкому.

В коридоре, когда подымались по лестнице, она встретила его.

— Много раненых? — спросил он Ганецкую.

— Трое! — ответила она, почему-то не включая в число раненых мужа.

— Четыре! — поправил один из санитаров.

Она опустила голову и сдерживала рыдания. Когда вошли в палату Корнецкий испуганно спросил:

— Что с вами?

Она не ответила и громко, истерически, зарыдала.

— Ейный муж! — пояснил Корнецкому один из санитаров, показывая на раненого.

Что-то тяжелое оборвалось внутри Корнецкого при словах санитара, и он приложил руку к сердцу, точно удерживая его от разрыва, но громкие рыдания Ганецкой заставили его забыть собственные страдания, и он подошел к ней, взяв ее руку.

— Не плачьте, Ирина Павловна! Слезами не поможете. Все пойдет своей колеей . . .

Под влиянием его слов она успокоилась, и взглянула на него, точно ища в нем опору в своем горе.

В их глазах было много прежней горячей люб-

ви но что-то тяжелое как черная туча надвигалось давя, уничтожая все на своем пути, и они оба понимали, что еще момент и все будет подавлено, уничтожено налетевшей бурей, что эта палата и даже это место около кровати раненого будет могилой их сильной, молодой любви . . .

**
*

Много бессонных ночей Ирина Павловна провела у кровати раненого мужа. Она не думала о недавнем прошлом, не раскаивалась в нем, но иногда острой болью сжималось ее сердце, когда мелькала мысль: «Это возмездие».

Она безумно боялась потерять мужа, и властно, настойчиво требовала от Корнецкого, чтобы он спасал его. Корнецкий делал все, чтобы спасти мужа Ирины, хотя чувствовал, что, с выздоровлением последнего, окончательно и бесповоротно рушатся его надежды на будущее. О своей семье он почти не вспоминал, жаль ему было только детей, но жалость эта была чисто человеческая, чувство мужа, чувство отца, все погибло в любви к Ирине.

Иногда ему хотелось умертвить Ганецкого, но когда он встречал измученный, беспокойный взгляд Ирины, он готов был ценой своей жизни спасти от смерти ее мужа. И когда уже прошла опасность, и Корнецкий увидел как Ганецкий любит жену и как она, поборов в себе то, чем жила

еще так недавно, отдается с новой силой старой любви, старой привязанности, он твердо и бесповоротно решил уйти с ее дороги. Он подал рапорт о переводе в другой лазарет и, чувствуя, что решение «уйти от Ирины» оделось в прочную непроницаемую одежду, он не боялся уже встречаться с нею и все свободное время проводил вместе с ней у постели раненого.

Накануне его отъезда на место новой службы к нему приехала жена с детьми.

Он сдержанно поздоровался с женой, поцеловал детей и грустно вздохнул . . .

Теперь он понял, что его жена, которую он еще так недавно любил, стала ему безразличной и даже антипатичной.

Перед вечером он с женой и младшим ребенком на руках пошел в лазарет прощаться. Он познакомил Ирину с женой и став сбоку, сравнивал этих двух женщин: Ирина высокая, изящная, с тонкими чертами лица и та другая, его жена, явная ей противоположность.

Ирина Павловна с ног до головы оглядела свою бывшую соперницу, потом она подошла к Корнецкому и поцеловала его ребенка.

— Я завтра уезжаю, Ирина Павловна, — сказал он дрогнувшим голосом.

— Куда? — чуть побледнев, спросила она.

— В Ростов.

— Вы пришли прощаться? — спросила она.

— Да!

«Почему он пришел с женой и ребенком?» —

думала Ирина, теряясь в догадках, и грустно глядела на Корнецкого.

Ей было больно и точно чего-то жаль, но, встретившись со взглядом мужа, сделала над собой усилие, стараясь потушить последние искры прежней горячей любви...

## СРЫВ

Никогда еще Борис не проклинал так свое влечение к женскому полу, как в это красивое июльское утро. В широко распахнутое окно была видна бирюза неба, пусть перерезанная трубой соседнего завода, всё же она была молитвенно чиста и торжественна. Легкий ветер шевелил занавеску и дразнил обоняние запахом липы, одиноко растущей во дворе отеля.

Жизнь была бы хороша, если б не это нелепое приключение. Он ругался, как бывало в окопах, громко, сочно и со вкусом. Широкое скуластое лицо, с примесью татарщины в чуть раскосых глазах, несмотря на дурное расположение духа, было привлекательно и симпатично. Казалось, что вся скверна его души была заключена в языке и исходила словами не затрагивая по-детски чистого, незлобивого, сердца. Крепкое мужское тело наслаждалось мягкостью постели и чистотой белья, грудь дышала свободно и широко. Совсем еще недавно, приходя в сознание, он услышал уверенный мужской голос: «Будет жить» в ответ на женский тихий шёпот. Слабость была так велика, что он не мог повернуть голову, взглянуть: кто спрашивал

о нем и кто беспокоился? Очертания толстого доктора снова исчезли, небытие оспаривало свои права на его жизнь.

Тревожный шёпот принадлежал соседке Бориса, немолодой уже даме, не отходившей от него со дня его заболевания. Они жили рядом несколько лет, но не были знакомы, едва ли даже встречались. Бориса раздражал ее рояль, и он много раз собирался пойти к ней с жалобой, но так и не собрался. Она его почти не слышала: ночной шофер, днем спит до самого вечера. Под вечер булькала вода в умывальнике, раздавалось, словно лошадиное ржание, стук захлопнутой двери и опять тишина.

Почему она воспротивилась его увозу в госпиталь, — она сама не знала. «Он там умрет!» — мелькнуло в ее мозгу и от беспокойства за незнакомого соотечественника тревожно сжалось ее сердце. Он и в бреду был красив. Черные волосы обрамляли его порозовевшее лицо и никто не дал бы ему его сорока лет.

В добровольных сиделках не было недостатка, но Раевская холодно отказалась от их услуг. Прекратила уроки музыки, взяла из банка часть своих скромных сбережений.

— Кто он вам? — любопытствовали ее немногочисленные знакомые.

— Русский, — пожимала она плечами.

Женщины шептались злорадно:

— Выхаживает себе мужа . . .

Старая няня ее ученицы вызвалась помогать ей

в уходе за больным, и дома говорила своим господам:

— И такой-то он, голубчик, красавец! Куды такому умереть, — богатырь!

— Влюбилась, няня! — подтрунивали над ней.

— Мелете тоже! — отплевывалась старуха, и делая хитрые глаза и понижая голос, сообщала: — А наша-то Софья Николавна, го-то-ва!..

Но эти толки не соответствовали действительности. Раевская не испытывала ни страсти, ни любви к опекаемому соседу. Она его жалела всем сердцем, всей своей одинокой русской душой. Казалось, всю жизнь она ждала момент, чтобы проявить свою заботу о ком-нибудь.

Очень богатая в прошлом и избалованная пожилым мужем, она была хрупка, как тепличный цветок, и абсолютно неприспособлена к жизни. О большевизме она узнала в Швеции, куда приехала вместе со своими родителями, решившими заблаговременно покинуть Россию. Муж ее остался в Петрограде, он еще верил, что все образуется, хотя уже тревожны были его глаза, старавшиеся запечатлеть каждую черточку любимой Софочки. Тревога мужа передалась ей.

— Андрей, ты чего-то боишься! — всполошилась она, прильнув к его груди. — О, Андрей, или уезжай с нами, или позволь мне остаться с тобой!

Он успокаивал ее до последнего звонка, гладил ее худенькие щеки, играл изящной раковиной уха. Рядом стояли старики — ее родители — и

глаза матери были полны тревоги и слез, и она просила: «Софочка не покидай нас! Андрей приедет к нам. Скоро приедет».

Андрей не приехал. Его убили большевики. Она не скоро это узнала. Все ждала его, порывалась *туда,* чтобы разыскать его, но жаль было покидать родителей.

В день смерти мать сказала ей правду: «Незачем ехать туда. Бедная Софочка, ты осталась одна на свете...» Она сломалась как хрупкий цветок, пришла в себя лишь через несколько лет. В шведском санатории для нервнобольных знаменитый художник писал с нее мадонну. Он полюбил ее, хотел развестись для нее с женой. Едва Софочка стала поправляться — красивая шведка посетила ее. Она плакала и о чем-то просила ее на незнакомом языке. Софочка расплакалась тоже, хотя не поняла ни слова. Ослабевшая память удержала только русский и французский языки. Она узнала от француженки сиделки кто была дама и о чем просила. Мадонна была недокончена, еще не было глаз, художник ждал выздоровления Софии, чтобы перенести на полотно не только эти драгоценности, окруженные стрельчатыми ресницами, но и душу ее — пока спящую.

Софочка отказалась позировать и тайно уехала в Париж. Ей хватило денег лишь на дорогу. Кое-как приспособилась, и годы потекли. В черном облике вдовы она состарилась. Гладко зачесанные волосы потеряли сверкающий блеск золота — поседели. Хороши были только глаза: огромные рус-

ские васильки, какие бывают к концу лета: сине-серые. Сеть морщинок окружала их, посягая на их красоту, но пока безрезультатно.

Такой ее узнал Борис. Он привязался к ней как к старшей сестре, и даже находил, что есть сходство между этой пожилой заботливой дамой и Надей — его любимой сестрой.

«На мою маму Вы не похожи, но если Надя жива, она наверно похожа на Вас. Вероятно даже тот же возраст». Она улыбалась и он видел ее зубы, еще нетронутые временем — настоящие жемчуга! «Сколько ей лет?» Неловко было спрашивать. Рука, которую она клала на его лоб, была по-матерински нежна, но то не была рука молодой женщины, от которой исходит электрический ток. Как же случилось, что он овладел этой рукой и спрятал у себя на груди под рубахой? Деликатная борьба разбудила в нем зверя. Перед его глазами близко-близко мелькнули ее и не ее — огромные сапфиры, блеснули странным огнем и закрылись веками. Дикая татарская капля крови, застрявшая в его организме, восторжествовала: так сотни лет тому назад его предки грабили русские монастыри, насиловали почтенных монахинь.

Когда он насытил свою прихоть, он оттолкнул ее. Она этот жест не запомнила, потому что сама вскочила как безумная, на ходу запахивая разорванное платье и придерживая распавшиеся волосы.

В своей комнате она кинулась на кровать и

пролежала до вечера без единой мысли в голове. Вечером она позвонила и явившейся отельной прислуге приказала позаботиться об ужине для Бориса. Сама ничего не ела и не испытывала в этом нужды.

Ночь ей вернула ясность мысли; она оделась и села у окна. Как быть? Она не знала. Было желание уехать, не повидав Бориса, но это желание исходило от ума, сердце сказало «Нет!» «Неужели я его люблю? — подумала она. — Как люблю? И что такое любовь?» Она прошла свою жизнь в этом вдовьем облике, тихая, бесплотная, страсти не смели нарушить величественный покой, оставшейся в живых и не живой, жены убитого русского профессора. Казалось, тень мужа окутала ее, закрывая от слишком яркого солнца. Он так любил ее, так опекал, так заботился о ней. Она еще видела его глаза в тумане петроградского утра — словно это было вчера. Все, что было лучшего, благородного, культурного в России — отражали эти незабываемые глаза. Предки профессора и предки Бориса — два вражеских лагеря. Подлинно Святую Русь и Золотую Орду представляли собой эти два человека возникшие на пути этой беззащитной женщины. И все-таки она любила Бориса, хотя любила память Андрея, или, может быть, не любила никого?

«В конце концов это не имеет значения, — пожала она плечами, не умея разобраться в своих чувствах. — Нужно решить, как быть дальше? Он еще болен и оставить его без помощи нельзя»

— решила она в уме, а сердце радостно подтвердило: «Конечно, нельзя!»

«Утром пусть Marie отнесет ему кофе, а к обеду я пойду сама». Когда решение было принято, она с облегчением вздохнула и принялась одеваться. Но невольно среди скромного туалета она искала что-нибудь посветлее, и с досадой отбрасывала черные надоевшие платья. «Вот эту белую блузку надену; ничего, что немодная», — но надев, сейчас же с ужасом сорвала. «Боже! а ведь я уже старуха! — почти вслух выкрикнула она и отшатнулась от зеркала. «Нельзя больше ни шею, ни руки оголять, такие они страшные».

К вдовьему черному был приколот белый бантик, нечто вроде жабо, что еще больше подчеркнуло ее суровость и неприступность. Но она этого не хотела, она всей душой протестовала против этого вида не по летам, она шептала с отчаянием: «Нет, нет не старуха еще, не старуха! И Борис... не на много моложе меня» ...

Сдержанная и безразличная, спокойно и незаметно вошедшая в старость, она вдруг заметалась в страшной панике, ища способы придать себе вид помоложе и привлекательнее. «Это не для него, не для него, — пыталась себя обмануть, — а так, вообще, для себя, для всех ...»

С проворством молодой девушки она сбегала в парикмахерскую, где немало удивились, когда она попросила завить себе волосы. На нее из зеркала глянуло незнакомое лицо, но значительно моложе, и парикмахер сказал, странно улыбаясь: «Тогда

уже Madame пусть наложит макияж на лицо — будет совсем модно». Как во сне она согласилась. Какие-то девицы ей мазали кремом лицо, покрасили губы и ногти. Старшая помощница, улыбаясь, оттянула ее в сторону: —Мой совет купить приличное платье и шляпу, то, что на вас, годится для столетней старушки.

В магазинах ей всучили столько ненужного, что она испугалась, заглянула в кошелек: хватит ли денег? Всюду на улицах она ловила в зеркалах силуэт незнакомой дамы и должна была себе внушать: «Это я». Таких как она было много кругом и никто не обращал на нее внимания, но ей казалось, что все смотрят, замечают и смеются над ней. Она не смела вернуться в отель. Вспомнила, что сутки ничего не ела, и зашла в кафе, заказала кофе и круассаны. Молодой человек, по виду конторский служащий, сделал попытку познакомиться: заговорил о том, что было бы приятно сейчас погулять с хорошенькой дамой — она возмутилась, недопила кофе и ушла. Она стала приглядываться к встречным женщинам, и с радостью убедилась, что большинство дурнушки. У многих были плохие зубы, желтые щеки, морщинистые шеи, а фигуры? .. Зеркала больших магазинов отражали ее стройную изящную фигуру в светло-сером костюме; маленькая черная шляпка выгодно оттеняла ее лицо с большими глазами. Она была, правда, хороша собой, и совсем еще не стара. Метаясь по городу она очутилась на place de la Madeleine. Оглянулась, ища свободную ска-

мейку, чтобы присесть, как вдруг глаза ее уткнулись в белые, каменные ступени, и быстро, словно считая их, побежали вверх, до самой двери. За глазами последовали ноги и вот она уже идет, влекомая неведомой силой... «Там посижу». Сколько времени прошло, она не помнила. Тишина пустынного храма наполнила ее душу. Вошла, чтоб посидеть, а не села. Опустилась на колени и оперлась щекой о холодный мрамор. И вдруг поняла: не сидеть, а молиться пришла. И теперь даже знала о чем, потому что слова вырвались воплем из ее груди, отозвались эхом в пустом храме: «Господи, защити, спаси мою душу и тело!»

## II

Борис все утро ругал «старую бабу», которая, притворившись благотворительницей, заманила его в ловушку. Он ожидал, что она чуть свет влетит к нему, и приготовился к отпору. Поэтому, когда вместо нее утренний завтрак принесла ему отельная прислуга, он растерялся и спросил про Madame.

— Madame больна, — ответила девушка, — лежит на кровати и такой у нее вид, что прямо страшно смотреть.

Отругавшись и поев, Борис предался грустным размышлениям: «Может быть, правда, я сам виноват? Ни одну бабу не могу видеть спокойно, даже такую как она — старуху. Ну, не старуха еще, но вроде этого. Сколько ей может быть лет? Ах,

идиот, идиот, что ж теперь буду делать? Как выпутаюсь? Ведь не закабаливаться на всю жизнь с женщиной старше себя».

Он припомнил ее желтое, увядающее тело, и опять выругался, как бывало в окопах, на войне.

Доктор велел ему лежать, но он не мог. Встал и, цепляясь за предметы, добрался до кресла. Рядом, на столике, лежала английская книга — ее книга. Он не знал английского и оттого что она была *ее* собственностью, он швырнул книгу на пол и оттолкнул ногой. Устыдившись, поднял, положил на место. Обложка была разорвана, как вчера ее платье. Про платье он не знал, а из-за обложки стало совестно. Подумал злобно: «Теперь оправдываться, лгать . . . И все она, она — *благотворительница!*»

За стеной началась возня. Он прислушался. «Изволила встать; сейчас расфуфырится и пожалуйте . . . Н-е-т! Хоть на коленях умоляй — никаких интимностей! Марка высокого давления: извините, я — мерзавец и тому подобное . . . Поставить в такое положение, чтобы неловко было домогаться, или намекнуть, что где-то есть жена, или, вообще, дама . . .»

От сидения у него кружилась голова, тянуло лечь в кровать. «Как еще слаб . . . ну, и трудно . . . уф . . .» шептал он, цепляясь за стол. «София Николаевна!» хотел он крикнуть, но не смог; всей своей тяжестью рухнул на постель.

Если б Раевская слышала паденье этого огромного ослабевшего тела — она бы прибежала и . . .

тогда бы все сложилось иначе... Но она не слышала и Борис сам очнулся от обморока.

Когда он понял, как он еще беспомощен и слаб, и что, может быть, вообще умер бы, если б не забота Раевской — мысли его приняли другой оборот:

«Хорошая женщина, святая. Что ж молодые? Я и сам уже не ахти как молод... Женюсь на девчонке и приготовьте голову, для известного украшения... нет уж, спасибо! Конечно, София Николаевна старше меня и... ох! худая! кожа и кости... и эта шея... но ведь могли мы встретиться лет двадцать тому назад, пожениться, и была бы она теперь моей законной супругой. Многие мои приятели имеют жен приблизительно ее возраста и ничего... живут... привыкли... Черные глаза задумались. Потом опять работа мозгу: то другое: привыкли... а если сейчас — медовый месяц?..

Ему хотелось есть, а София Николаевна не шла. И снова он хотел ее позвать, «свою старуху», сострил он с грустью.

Вот хлопнула ее дверь и она, не останавливаясь прошла мимо. «Voilà! что же это значит?» Позвал Marie: «Madame ушла — Не знаю куда. Нет, не с корзинкой. Принести кофе? Хорошо».

Он спал до вечера, пока не раздался знакомый стук. Вошла София Николаевна, но не такая, какую он ждал: все также строго одета в черное, гладко, за уши причесана, прекрасные синие глаза смотрят спокойно и уверенно, и нежно, по-ма-

терински звучит ее голос: «Простите, дружочек, что вас забросила на весь день. Были разные спешные дела».

Он смотрит на нее и думает: «Вот как, обратила все в небытие... в сон... А может, правда, то был сон? — спросил он себя и вздохнул с облегчением, но где-то там, в тайниках души что-то сказало ему: жаль...

## ТРИ МОГИЛЫ РЯДОМ

Здравствуйте, дорогая Лидия Павловна, здравствуй старина Миша, вот вырвался я, наконец, на пару дней, из нашей знаменитой мистральной Ниццы в ваш дождливый Париж, и в первую очередь потянуло меня к вам...

Хозяева открыли было рты. чтоб выразить гостю благодарность за оказанную им честь, но гость, пристраивая на вешалке шляпу и пальто, продолжал без малейшей паузы свою, по-актерски заученную речь:

— Хоть я и редко вам писал, но не забыл, верьте, ни вашей уютной квартирки, ни чисто русского гостеприимства с водочкой, борщем, кулебякой, голубцами, ватрушками... Не забыл я, как после этих вкусных блюд и кофе, когда уж вдоволь ублажен бывал мой желудок, очаровательная хозяюшка предлагала мне духовную пищу: «Вот, если хотите, я почитаю вам свой новый рассказ» и, пока читала, часто взглядывала на меня своими пытливыми глазами: не заснул ли я под ее певучий голос?

Договорив заученное, он двинулся из полутемной передней в ярко освещенную солнцем комнату и молча, несколько мгновений, рассматривал хозя-

ев с явно разочарованным видом: Как?! этот постаревший и сутулый господин это и есть развеселый Миша, еще недавно... хм... лет 25 или 30 тому назад рассказывавший такие сногсшибательные анекдоты?А она, эта дама с уставшим лицом, какое несчастье постигло ее, что она так потускнела? Годы? Сейчас нет старости для женщины, если здорова, то и молода! Все изъяны на лице талантливо покрывает «его величество макийаж». Но она сейчас без «макийажа», стоит без смущения с «натуральным» лицом, и не извиняется за то что, мол, «не одета».

Раньше, бывало, придешь невзначай, а она отворачивается «ах, ах, не смотрите на меня, я еще не одета» и бежит в другую комнату, стучит каблучками, выдвигает какие-то ящички и минут через 20 выходит в порядке: нарядная и подкрашенная. Почему же сейчас, в честь мою, не убегает прихорошиться? а ерзает по моему лицу и фигуре разочарованными и как бы обиженными глазами? Что ей не нравится во мне? Я хорошо одет, свеже выбрит, на мне нилоновая рубашка, дорогой галстук. От меня пахнет хорошим одеколоном. Правда я уже не тот, что был: двойник Густава Курбэ, на его автопортрете: «Курбэ с черной собакой».

Он вспомнил как Лидия Павловна, художница-писательница, восхищалась его волосами и угрожала, что когда-нибудь вцепится в них как летучая мышь и выдернет целую пригоршню. Он тогда ждал с замиранием сердца, что она наберется смелости и перейдет от угроз к действию, но так

и не дождался. Жизнь разлучила их неожиданно и казалаось, навсегда, но вот они опять вместе, но такие чужие? и ненужные друг другу?

Не помогла ни его заученная перед зеркалом речь о кулебяке, чтоб польстить Мише, о голубцах и рассказах, чтоб польстить Лидии Павловне. Истратить на дорогу столько денег, чтоб сразу попасть под дождь в Париже, и что хуже дождя — под критический взгляд некогда любимой женщины? А этот Миша — однокашник, превратившийся раньше времени в Кощея бессмертного, чего ухмыляется глядя то на его двойной подбородок, то не в меру располневшую талью? чего доброго скажет: «ну и растолстел же ты!» а Лидия добавит: «Да, вы уже не Курбэ с черной собакой».

Для чего встречаются люди после долгой разлуки? чтобы видеть развалины своего бренного тела? Душа? какую ничтожную роль играет душа в нашем мире. Все начинается с тела, и если я перестал быть похожим на Густава Курбэ — то крышка! на кой черт ей душа моя? А разве я в восторге от ее потускневшего вида? Человеческая мысль не требует времени: все эти философские истины сконцентрировались в молниеносном взгляде, страшном орудии человеческого мозга, и у приехавшего «бывшего друга» является желание удрать, унося с собой шоколадные конфеты, купленные в лучшей кондитерской в Ницце.

Но жизнь культурного человека требует на каждом шагу лжи и принуждения, поэтому гость, которого отныне будем называть Виктором Ивано-

вичем, справившись с собой, приник толстыми губами к похудевшей руке «бывшей Лидочки» и вручил ей, привезенный из Ниццы, пакет.

— Вот вы какой . . . джентльмен, — улыбается она бледными ненакрашенными губами. — За столько лет не забыли нас и еще тратитесь на дорогие подарки. Ведь вы, наверное, как и мы, живете на пенсию?

— Хм . . . не совсем . . . пенсия это так — добавка к капитальцу.

Он сказал это для «красного словца», но сказав, твердо решил изображать из себя богатого человека. Он выпрямился, чтобы казаться выше ростом, поправил галстук и спросил тоном покровителя:

— А вы, правда, живете только на пенсию?

— Да, но ничего, нам вполне хватает, — ответила Лидия Павловна, гордо подчеркивая, что не хочет играть роль бедной знакомой, которой нужно помогать, но с которой не надо особенно считаться.

Так примеряясь друг к другу, зовя на помощь прошлое для установления каких-то новых отношений эти трое постаревшие и изрядно покалеченные жизнью, достигли, что через 3 часа были опять крепко склеены новой дружбой и звали друг друга, он — их на постоянное жительство в Ниццу, в старческий дом, где он доживал свой век, они — его пенсионером в свою маленькую парижскую квартирку.

— Если у вас сохранился хороший желудок, я

вам буду делать голубцы, — соблазняла его Лидия Павловна.

— А я кулебяку, — обещал Миша, хотя часто даже сварить картошку у него не хватало сил.

Когда же випитая водочка и вино немного выпарились из трех поседевших голов, то новые (они же и старые) друзья решили, что жить втроем в двух комнатах будет стеснительно, что переехать с невралгией лица, которой страдает Лидия Павловна, в Ниццу, где дуют мистрали, рискованно, но чтоб не расставаться и поддерживать друг друга морально надо переехать Виктору Ивановичу в один из старческих домов под Парижем.

— Подумайте, то вы нас будете навещать, то мы вас, — сказала Лидия Павловна решительно. — на этот раз только смерть разлучит нас! Впрочем мы можем заранее заказать 3 могилы рядом . . .

— Где? — испуганно спросил Виктор Иванович.

— В Sainte Geneviève des Bois — На русском кладбище.

Она сказала это так спокойно, так деловито, видно не раз обсуждала этот вопрос вместе с мужем.

* *
*

И вот зажили они как братья с сестрой, но старушки из старческого дома взяли Виктора Ивановича в оборот:

— Вы что это ухаживаете за чужой женой? У нас полон дом вдовушек: генеральши, полковницы, писательницы, артистки... Нет, вам нужно «вольную» «парижанку» да при живом муже!

Стариков, по сравнению со старухами, было в старческом доме как «кот наплакал», но и они тоже отравляли ему жизнь советами:

— Вам что, всего только 70 лет? и живете бобылем? и на «казенных харчах»? Жена вам и ватрушки с творогом спечет и соляночку из рыбки состряпает. Берите только с капитальцем. У одной здесь артисточки кругленькие 5 миллиончиков! Она их держит в банке под чужим именем. Но самая здесь богатая это наша писательница, ей 82 года, ходит плохо, еле передвигает ногами, но темперамент! недаром она писательница.

— Вот это-то и плохо! — сказал Виктор Иванович. — Нет, уж спасибо! предпочитаю свою холостяцкую свободу, чем с бабьем связываться, да еще с темпераментными старухами! — и шел слушать радио или смотреть телевизию, а по воскресениям ездил в Париж к своим старым друзьям или те приезжали его навещать. Заказал 3 могилы рядом, на русском кладбище, и приподнес друзьям в подарок. Те очень обрадовались и выпили по этому случаю по рюмочке водочки, закусив соленым огурчиком.

— Сама солила! — похвасталась «бывшая Лидочка».

Виктор Иванович подумал:

— Ах, какая она милая и совсем еще не старая,

несмотря на «натуральное» лицо Да и я молодец, хотя проклятое брюхо еще выросло, из-за него трудно стало дышать... Может быть не зря купил эти могилы? Верно скоро придется сыграть в ящик. Лидочка будет ухаживать за моей могилой, посадит цветы, на Пасху принесет красное яичко, зажжет свечу, отслужит панихиду, а может быть и всплакнет и скажет: «ах зачем ты умер раньше меня, мой Густав Курбэ? я теперь такая одинокая, потому что и Миша долго не протянет. Кто меня пожалеет? кто закроет мне глаза?» «Бедная, бедная Лидочка, может быть будет лучше если умрет раньше меня? Но она здоровая! Такую не переживешь. Наверное умрет последней. А бедный Миша может быть, правда, долго не протянет? Стоял он мне всегда поперек дороги... но захочет ли Лидочка выйти за меня замуж? Может быть скажет: «не могу изменить мертвому мужу. Это еще хуже чем живому». И значит ни при живом, ни при мертвом — такая уж видно моя судьба. Другие женщины... их было много, но лучше Лидочки не встретил и потому не женился. Остался бобылем.

Перестав быть мужчиной, он был уверен, что между Мишей и Лидочкой нет уже никаких интимностей... но раз, ночуя у них, прислушался... и было ему очень больно... Как он смеет, Кощей бессмертный, тормошить эту Лидочку, которая днем кажется такой недоступной для страстей земных? Ночью, значит, она другая, «темпераментная», как эта 82-летняя писательница? Тем

лучше... если Миша умрет, а она согласится выйти за меня замуж, то и я позволю себе... или и тогда оробею? но если она способна ночью вздыхать... то сделавшись моей законной женой днем будет сдержанной, а ночью темпераментной. Ведь старость понятие относительное, «внутри» себя человек не стареет и если вдобавок он физически крепок — его волнуют те же чувства, те же желания что и в молодом возрасте. Однако все это надо скрывать во избежание насмешек и «притворяться» стариком, вот как Лидочка: днем она старушка, а ночью...

У Виктора Ивановича от этих мыслей захватывало дыхание — казалось что вот-вот умрет.

При очередной встрече он ловил себя на мысли, какая она с ним будет ночью, если в случае смерти Миши, выйдет за него замуж. Неудовлетворенная страсть, хотя и утомляла его, послужила прекрасным средством для похудения. Раздутые щеки опустились и хотя появились на них морщины — выражение его лица стало одухотвореннее. Это отметила Лидия Павловна.

— Ну вот... — сказала однажды. — Вы опять стали похожи на Густава Курбэ.

Он задохнулся от радости.

— Правда?

— Правда, — сказала она серьезно, и оглянувшись на мужа, который слушал радиопередачу, добавила: — Теперь, по-прежнему вы мне нравитесь.

«По-прежнему, — торжествующе подумал

Виктор Иванович. — По-прежнему ... значит мое чувство к ней не было безвзаимным и если Миша умрет ... она выйдет за меня замуж ... и ночью ...»

Под пытливым взглядом Лидии Павловны он не смел думать ни о чем таком ... но когда наступала ночь, он скидывал с себя воображением 40 давящих лет и столько же лет с Лидочки и оба они пьяные от счастья не могли насытиться друг другом ...

В одну из таких ночей принесли ему телеграмму из Парижа. «Миша умер», — подумал он радостно.

Но телеграмма была именно от Миши: «Приезжай немедленно. Лидочка умерла».

Он думал, что сердце не выдержит удара, но выдержало. Он шел рядом с Мишей за гробом любимой обоими стариками женщины, к ожидающей ее могиле, «одной из трех».

## В САНАТОРИИ

*Памяти мужа*

Сторожка примыкала вплотную к густому, запущеному саду, где водились змеи, черепахи, ящерицы и тому подобная тварь.

— Вот, доктор, если ничего не имеете против, я с мужем поселюсь в этой сторожке — сказала вновь назначенная в санаторий сестра милосердия Таня.

— Пожалуйста, — ответил врач, — только здесь сыро и темновато.

— Ничего, зато мы будем вдвоем; а то: муж в одном месте, жена в другом.

— Вот еще влюбленная парочка! — рассмеялся врач. — Но откуда вы возьмете кровати? здесь, как видите, только этот узкий топчан.

— Я их раздобуду у местных жителей, — сказала беспечно Таня.

— Местные жители все бежали в страхе перед зелеными. Дачи их заколочены или разграблены. Кроватей, даже бамбуковых, достать не сможете.

— Достану! — заупрямилась Таня.

И действительно, достала, да еще пружинные, с великолепными матрацами. Даже совестно стало: не отдать ли одну из них какой-нибудь больной?

а у той взять бамбуковую с твердым матрацем? Но больных в ее ведении было 15, дать хорошую кровать одной — другим станет обидно. Пришлось оставить себе.

***

Устроились в сторожке очень уютно. Появилась цветная скатерть, кружевные занавески.

После ужина в общей столовой, где неизменно подавалась долбенная каша, комса и соленые огурцы, Таня в своей сторожке варила на мангалке картошку, яйца и другие «буржуйские» блюда.

— Где вы все это раздобываете? — удивлялся врач, подружившийся с Таниным мужем и лечивший его постольку — поскольку это в те времена было возможным. А было это, как читатель наверное догадывается, в России, во время гражданской войны.

В горах, вокруг санатория, прятались дезертиры, так называемые зеленые. По ночам они спускались с гор, подкрадывались к санаторию, воровали что можно было украсть из провизии, из вещей и даже увели с собой однажды лечившегося в санатории офицера. Что они с ним сделали — неизвестно.

Хотя лечение в этом санатории было связано с постоянной тревогой, из всей территории занятой Добровольческой Армией стекались туда больные врачи, офицеры и сестры милосердия.

Таня была очень довольна своей службой, и по-

лученное первое жалование торжественно вручила мужу. Муж положил деньги в особую шкатулочку, из которой Таня выловила их обратно и отослала голодающей матери на Украину. «Ты уже получил удовольствие от моего жалования, теперь пусть мама получит», — объяснила она, немного смущенная.

В сторожке, кроме Тани и ее мужа, жили в каменном полу змеи. Когда никого не было дома змеи выползали, с любопытством осматривались кругом и грелись у открытой двери на солнце. Совершали, конечно путешествия и в сад, ловко передвигаясь в густой, высокой траве. Но как лечившимся и служащим в санатории страшно было сознавать, что кругом кишмя-кишит зелеными, так этим змеям присутствие Тани и ее мужа в сторожке казалось смертельной опасностью. Змея мать была больна и змееныши без нее стали выползать наружу. Пока они отсутствовали мать вздрагивала при малейшем стуке, прислушивалась с тревогой к шагам Тани и ее мужа. Когда шаги утихали и змейки вползали, теплая радость разливалась по ее холодному скользкому телу . . .

Однажды самая любимая из детей не вернулась с другими. Мать стала ее ждать . . . Каждое мгновение казалось ей вечностью. И чего только она не представляла себе! в то время как молодая змейка свернувшись в изящный клубочек беспечно лежала в передней сторожки — брала солнечную ванну.

Вдруг послышались Танины шаги... Змейка выпрямилась, поднялась на хвостике, вся застыла в тревожном ожидании. Таня увидела ее, шагнула вперед, подалась назад, что-то крикнула, схватила в руку палку, подняла ее над змеиной головой... Но не успела ударить — змейка опустилась на пол и быстро уползла под кровать. Там сначала обрадовались ей, но узнав, что Таня обнаружила их присутствие в сторожке (ибо животные способны передавать друг другу события) смертельный ужас овладел всеми. Змеи не рискнули покинуть норку, чувствуя присутствие Тани в сторожке. А потом началась возня у входа в норку и змеи поняли, что момент для спасения окончательно был упущен

⁂

— Вот здесь... вот здесь... она стояла на хвосте... такая страшная... наверно ядовитая...» — докладывала Таня доктору.

— Как она выглядела?

— Не знаю... не знаю... черная... зеленая... желтая... Подумайте: змеи живут у нас под кроватью... и мы не знали этого... Целый месяц живем... и не знали...

Доктор решительно оттянул от стенки кровать... нагнулся над каменным полом.

— Да! тут типичная змеиная норка!

— Что делать? что делать? — бормотала Таня. — Я ни за что не останусь здесь... ни за что!

— Вы можете смело оставаться, надо только...
... засыпать вход толченым стеклом!

— И вы думаете... Вы думаете... они не выползут оттуда?

Доктор рассмеялся:

— Конечно, нет! это единственный способ их прикончить, а то расползутся по саду — будут пугать больных! Вы вот здесь их покараульте, а я пойду за стеклом.

— Не уходите! я боюсь!

— Надо действовать быстро! У всех земных творений, кроме человека, есть инстинкт. Ваши жильцы уже чувствуют опасность, если их не караулить, они выползут!

Таня взяла в руку палку, стала посередине комнаты и уперлась глазами в змеиную норку. Сердце ее то замирало, то бешено билось в груди. Отвращение и ужас отразились на ее лице. Как теперь жить в этой сторожке? Но куда деться? Не хочу жить с сестрами в общежитии и чтобы Миша с больными... чахоточными... Не хочу!

Доктор вернулся с толченным стеклом. И за ним прибежали сестры из других палат. Прибежали Танины больные... пришел Миша. Таня, уже успокоенная, рассказывала свою встречу со змейкой, и они все смотрели на нее как на героиню, тем более что от присутствия стольких людей совсем овладела собой и даже подтрунивала:

— Это какая-то глупая змея. Я бы на ее месте уползла в сад, а она, на моих глазах, прямо туда . . . себе же на погибель!

Доктор поднялся с колен с веселым видом:

— Ну теперь им крышка!

*
* *

Ночью Таня не могла заснуть. Зажгла две керосиновые лампы и, прижавшись в постели к мужу, начала философствовать:

— Вот какая подлая штука жизнь: эти змеи, может быть, и не ядовитые, а вот они сейчас гибнут, задыхаются . . . пытаются прорваться сквозь толченое стекло.

*
* *

Если бы змеи понимали человеческую речь, то они бы сказали про Таню: — Сколько зла в человеке и сколько фальши! Что стоит ей выковырять это стекло и выпустить нас в сад? где столько змей живет на свободе.

— Спи, Таня! — советовал ей муж.

Таня продолжала:

— Ты знаешь, Миша, чего я боюсь? — Чтоб

Бог в наказание за мучительную смерть этих змей не превратил нас самих в змей — после нашей смерти...

— Если хочешь, — предложил Миша, — если тебя так мучит совесть, я выпущу их на свободу.

— Нет, нет! — закричала Таня в ужасе. — А вдруг они ядовитые?.. Кинутся на нас, укусят! Ведь там их, наверно, много!

— Ну, тогда спи! Тебе ведь в пять часов утра вставать. Спи, Таня!

— Я не могу. Это ведь ужасная трегедия: быть замурованным, задыхаться...

Миша вскочил с кровати, вооружился кочергой.

— Ну? — повернул он суровое лицо к Тане. — Еще одно слово, и я их выпущу!

В этот момент, где-то вблизи, раздался треск пулемета. Бросив кочергу, Миша взялся за винтовку.

— Ты куда, Миша?

— Ясно куда. На сборный пункт.

Поцеловав и перекрестив Таню, он скрылся в темноте ночи. Тогда на Таню напал страх. Стоя на пороге она видела как во всех окнах санатория замелькали огоньки и со всех сторон к сборному пункту стали сбегаться вооруженные мужчины. Раздались крики: «Держи его! Держи!»

Таня поняла, что на санаторий напали зеленые. Представила себе, что в схватке с ними может по-

гибнуть ее муж, и тогда, уже не думая о самой себе, кинулась с кочергой к змеиной норке. Губы ее дрожали, глаза застилали слезы, и она все ковыряла, отбрасывая в сторону толченое стекло и повторяя с мольбой:

— Спаси, Господи, Мишу! Спаси!.. Как я спасаю этих змей...

## ВАНДА

У порога маленького домика они остановились.

— Тсс... наши уже спят... то-то будет им сюрприз! Ванда приложила ладонь к губам своего мужа? Мужа? жениха? она сама еще не знала как называть его...

Губы поручика сейчас же прильнули к ее ладони. Она не отнимала руки, словно забыла ее... И вдруг заколебалась: вернуться туда... где так уютно горит лампа... где нераскрытыми и целомудренными стоят две кровати вместо его одной. В одну из них она должна была лечь с разрешения церкви и общества, но было столько смущающих ее любопытных взглядов весь этот день: и в церкви и за ужином и этот последний взгляд молодого парня, их денщика, когда он медленно затворял за собой дверь...

Молодой муж не знал, что делать с с собой... сидел за столом, задумчиво подперев щеку. Ванда молча наблюдала игру его лица, ставшего открытой книгой для ее пытливых глаз. Не победителем выглядел он, а скромным поклонником, не знавшим с чего начать свое ухаживание. Так было и год тому назад, когда она деликатно отстра-

нила его руки, протянутые для объятия, и сказала просто, слегка коверкая русские слова «Это... не надо...» Она не рассердилась за его дерзость и он не обиделся за ее отказ. Их взгляды скрестились спокойно и честно. Мужчина понял, что девушка его не любит, и сам он еще не любил ее. Но даже полюбив — долго не решался повторить свой жест. Она сама сделала это, когда их сердца были переполнены чувством, сама закинула ему руки на шею, и прижавшись лицом к его плечу шепнула страстно: „Kocham!" Девушка-жена любит его и должна принадлежать ему... Но как подойти к ней? что сказать? какой жест произвести? Он не знал.

Вдруг знакомая теплота руки коснулась его лица. Ванда стояла рядом с ним и странная, необычная была просьба ее: — Милый, я пойду сейчас к маме... я пойду к маме ночевать... и Вы проводите меня?

Одно мгновение он колебался, подавляя в себе влечение к ней и протест против нее, но горд и спокоен был его голос, когда он произнес:

— Хорошо.

Он накинул на ее белое подвенечное платье пальто и молча взялся за фуражку. Взглянул на ее фату, брошенную на диване, и спросил:

— Что наденете на голову?

— Ничего, тут ведь два шага. Милый поручик не звените шпорами, мы выйдем потихоньку, чтобы денщики не проснулись.

— Да, конечно. Не нужно, чтобы кто-нибудь

увидел нас, в особенности солдаты. Для простого мужика тонкая игра чувств ... — но не докончил своей фразы и упрямо замолчал ...

— Да! — согласилась она и пошла вперед не оглядываясь; тихонько отворила дверь и вышла на спящую улицу пригорода. Было очень темно и она, найдя его руку, взяла ее и пошла с ним рядом ...

Он думал: «Что сделал бы другой на моем месте? О, никогда никто не согласился бы на мою странную роль. Унизительную? нет! Она меня любит и уважает, но всегда, всегда делает все посвоему, повинуясь только своей воле. Заставить ее ... Ее?!. есть ли такая сила? Ее можно взять грубой силой, но тогда она разлюбит и уйдет? И значит всегда ... всю жизнь зависеть от изломов ее странной души? Зачем я полюбил ее? зачем оттолкнул ради нее ту другую; у которой было простое доброе чувство ко мне. Та была грузинка, «своя», а эта из чуждой мне страны. Будет ли она любить мою страну и мой народ, или всегда только свое? Будет ли любить меня или когда-нибудь, дорвавшись до своей Родины, полюбит «своего»? С ней — вечный страх и никогда твердой почвы под ногами. Вот ее домик, она хочет в нем ночевать ... Одну ночь? или многие?»

— Милый! — шепчут в темноте ее губы и близятся к его губам ...

Все забыто и никакого протеста в нем уже нет! и только счастье ни с чем не сравнимое. Легкий толчок ее руки ... и вот она уже шагнула к две-

ри... тихонько отворяет ее... входит в дом матери.

А он один в темноте стоит как вкопанный и смотрит туда, где появляется свет и откуда слышны голоса. Голос ее матери, потом старшей сестры. Удивление, вопросы, но слов не слышно. Потом свет переходит в ее девичью комнату... и полная тишина... Победила и там. Не смеют ее больше тревожить вопросами, не смеют увещевать... В чем? что скверного в ее поступке?? Она хочет быть девушкой еще эту ночь, и может быть многие следующие? И он должен ждать? и... будет ждать?

***

Ласково приняла ее узкая постель, немного твердая, но своя, давно знакомая. Как хорошо в ней и... свободно! Ничьи руки не тянутся к ней, слышны только голоса матери и сестры. «Послушаем, что обо мне говорят, это любопытно».

— Может быть поссорились? — спрашивает сестра.

— Нет! — отвечает мать, — нет! Никакого гнева в ее глазах, ни волнения. Она любит его, а вот пойми — зачем ушла?

— Ты знаешь, мама, — понижает голос Стася, — я хотела ее немного просветить... чтобы не испугалась, ведь ей всего семнадцать лет, а она так спокойно и гордо спросила: «Бояться? чего?» и я не смела ей объяснить.

— Я тоже не посмела. Много раз начинала и ничего не вышло. Я хотела его попросить, чтоб он был с ней как можно деликатнее, но он мне внушает робость, и я только успела ему сказать: «Вы знаете... она еще дитя»... Он удивленно посмотрел на меня и ответил: «Да, да, я же знаю»... Ванда имеет влиянье на него. Как могла она покорить такого властного и деспотичного человека как он? Мне солдаты говорят: «Когда ваша паненка идет рядом с его благородием, то мы ничего не боимся, а без нее он строг и наказывает чуть что»... На православную Пасху она перехристосовалась со всеми его солдатами, и они от нее в восторге. Говорят: «Хоть и полячка, а не гордая, правильная барышня, умеет уважать людей»... Унтер-офицерам подает руку при нем, и всегда расспрашивает про их личные дела. Если б отец жил, то-то война была бы у нее с ним. Страшно подумать... Он бы не дал согласия на этот смешанный брак.

— Но она патриотка, — шепчет Стася, — никогда она не разлюбит свою страну, никогда не изменит ей...

— Никогда! — гордо соглашается мать. — Как она любит нашу несчастную страну, как любит! Достаточно услышать ей слово «Польша», как вся она — сплошное напряжение. Однажды в обществе, один прокурор, не зная что мы польки, резко отозвался о поляках. Она сейчас же с ним вступила в бой. Но как! У нее своя манера. Ни гнева, ни ненависти, а сказала все, что хотела, так прос-

то, так спокойно, и все были на ее стороне, против этого прокурора.

— Но и что же он? — спросила Стася заинтересованная.

— Он был сначала удивлен, потом глаза его сделались добрыми и ласковыми, и он протянул ей руку со словами:«Милая барышня, только таким путем приобретаются друзья для Родины. Если б все были как вы» .. «Таких много в моей стране, но вы не можете этого понять». И они стали друзьями — Ванда и этот прокурор.

— Я тоже стараюсь для Польши, — задумчиво прозвучал голос Стаси, — но я бы не вышла за человека другой нации как Ванда.

Резко скрипнула девичья постель, это тело молодой женщины все сжалось в горестный комочек, но подушка заглушила ее стон. На том месте, где были ее глаза — остались мокрые пятна, и она сердито перевернула подушку на другую сторону.

И опять насторожилась, желая знать правду о себе.

— А мне казалось, что ты непрочь сама выйти за него замуж, — сказала мать.

— Что ты, что ты, мама! — серьезно прозвучал ответ. — Он мне нравился, я может быть даже любила его, но я отдаю себе отчет, что такой брак был бы очень сложным, в особенности пострадали бы на этом дети: две религии в одном доме, два языка, и главное . . . главное . . . две Родины.

«И всегда, всегда, за моей спиной будут звучать

эти упреки», — с болью подумала Ванда, и слушала дальше.

— Она не чувствует себя виноватой что отбила его у меня . . . И странное — я тоже не считаю ее виновной. Люблю ее . . . люблю.

Мать шептала примирительно:

— Вот и правильно! не хватало бы еще между сестрами вражды . . .

— Другой бы не простила а ей . . . Что есть в этой странной девочке, что даже за боль ее любят — что?

— Я не знаю ее совсем! — грустно проговорила мать. Люблю ее, но немного ее боюсь, и ничего не смею ни запретить, ни даже посоветовать ей. Про нее и про поручика стали ходить сплетни. И вот я решила с ней поговорить . . . Ты знаешь, они целыми днями бродили по лесам и она бывала у него. И вот злые языки . . . «Вы мать . . . девушка молодая . . . могут обидеть . . . бросить . . .» Собралась с духом и говорю ей что вот толки . . . а она так спокойно: «Меня никто не посмеет обидеть, тем более Гиви, который любит меня!» «А ты любишь ли его?» «Да!» был короткий ответ и ничего более. Почему она ночует здесь? какая фантазия привела ее сюда?

— Да, почему? — шепчет Стася, и голоса понизились так, что Ванде уже не слышны. Но ей уж не интересно. Она думает о тех, кто встретился на ее коротком женском пути. Все были как Гиви . . . не смели никогда проявить инициативу . . . Она властвовала, она поощряла, и только по ее жела-

нию лились признания из мужских уст. Недолго властвовала, а уже утомилась, и с благодарностью вспомнила один случай: до встречи с Гиви, но это ее тайна, девичья тайна, и никогда Гиви не узнает ее...

Однажды Стася взяла ее с собой на прогулку верхом. Дала ей кавалера кавказца, студента медика, а себе взяла молодого поляка, будущего инженера. Девушка взглянула на соотечественника раз-другой... Хитрая Стася — он интереснее: такой живой и веселый и «свой»... Юноша тоже глядел на нее и маневрировал чтобы поменяться дамами. Пустились галопом все вчетвером, вдруг Ванда задержала свою лошадь на миг. Поляк ринулся к ней: «Не отставайте! заблудитесь!» но Ванда медлила и пустила свою лошадь лишь тогда когда сестра с кавказцем медиком были далеко впереди. И тогда они поскакали рядом, молчаливо торжествуя победу.

Силуэты сестры и ее спутника исчезли — это их не смущало. «Встретимся на ферме», — уверял юноша.

Ванде не было страшно с ним, хотя то было ее первое „tête à tête" с мужчиной. Она слезла с лошади и стала собирать землянику, он последовал ее примеру.

Была первая мировая война. На польской земле разыгрывался кровавый бой между тремя державами; на карту были поставлены судьбы трех могучих престолов; но этому юноше и этой девушке не было дела до столь серьезных проблем. У

них была своя забота: наполнить маленькую плетенную корзиночку душистой земляникой.

Они метались от кустика к кустику, звали друг друга, совещались какую ягоду стоит сорвать а какая пусть дозревает... Привязанные к деревьям верховые лошади время от времени напоминали им своим ржанием, что где-то существует сестра Стася, перед которой нужно будет оправдываться и лгать...

Они не хотели думать ни о чем, и благодарили Бога за этот солнечный день, за купол голубого неба, за могучие ряды деревьев, по стволам которых носились спугнутые пушистые белки, и в гуще которых на все лады чирикали птицы.

Все меньше и меньше на польской земле оставалось таких мирных уголков, и надо было торопиться запечатлеть в душе всю их скромную красоту пока еще до них не докатилась война.

На юноше была русская защитная форма, а двоюродный его брат, родившийся в Кракове, воевал на стороне австрийцев, и оба они боялись, что когда-нибудь столкнутся в атаке, что, быть может, им суждено убить или изувечить друг друга.

И у Ванды тоже драма: два брата на русском фронте: один против австрийцев, другой против немцев, и мать плачет (как и другие польские матери), что ее сыновья должны, ни за что ни про что убивать своих собратьев из других частей разделенной Польши.

Юноша держит Ванду за кончики золотистых кос — так ей легче собирать землянику, «а то чуть

нагнешься — косы сползают с плеч, цепляются за кустики» ... Но как странно, что от этого неощутимого контакта, к сердцу Ванды буйно приливает кровь, и оно начинает ненормально биться.

Она резко выпрямляется и видит ... да, видит ... что ее спутник не только держит шелковистые пряди в руках — он поднес их к губам и целует ... целует.

Смущенная, она отнимает их ... хмурит брови, смотрит сердито на лицо юноши, покрытое розовой дымкой ...

— Ах так ... — говорит она и направляется к лошадям, отвязывает свою Каштанку, но быстрый как белка, он заключает ее в объятия и сразу губы его находят ее губы ...

Покорная и ждущая, она во власти его вся затуманенная, околдованная и связанная обоюдным желанием, но он отпустил ее, и, посадив на лошадь, пустился рядом с ней галопом, рассеивая в движеньи вспыхнувшее пламя ...

И никто после этого юноши не дерзнул лишить ее воли и заставить закрыться ее гордые глаза.

Сколько времени будет ждать Гиви? и как произойдет их первое сближение? Женская стыдливость не позволяет ей думать о деталях, и она шепчет в мокрую подушку, которую уж не знает каким боком повернуть: «Милый ... ты не можешь как он ... ты слеплен не из нашей польской глины ... ты не знаешь меня ... ты никогда не узнаешь меня ...»

Она не спала всю ночь, а на утро пошла к му-

жу, очень рано, пока не проснулись денщики. Днем были гости, и любопытные, нескромные взгляды останавливались на ее бледном лице с покрасневшими от слез глазами. Люди думали... она знала, что они думали... она знала какие картины они рисовали себе... и она была рада когда гости ушли и Гиви предложил ей провести вечер в театре.

Она надела красивое вечернее платье и осторожно поправляла перед зеркалом прическу. Позади нее стоял Гиви в элегантном офицерском пальто, и уже натягивал перчатки на свои смуглые руки. Как случилось, что перчатки были брошены на пол, что смуглые руки легли на ее худенькие плечи, что повернули ее лицо к нему? В серые удивленные глаза смеющимся взором смотрели его карие... и как случилось, что этот смех превратился во что-то такое что заставило ее веки сомкнуться... что вся она в своем нарядном платье оказалась прижатой к золотым пуговицам пальто... и что на страстный шепот: «Хочешь останемся дома?» она ответила «Хочу»?

## В ОСАЖДЕННОЙ ВАРШАВЕ

*Посвящается памяти сестры*

Варшава готовилась к упорной обороне. Среди полуразрушенных и полусгоревших домов копошились люди — рыли окопы, строили баррикады. Жизнь была страшной, но еще независимой от немцев, и эту жизнь хотелось продлить хотя бы на день или два.

Ксендзы поддерживали веру в чудо, и костелы, как в большие праздники, были переполнены молящимися. В промежутках между службами, конфессионалы (кабинки для исповеди) брались с боя. Не замечая своей грубости, люди отталкивали друг друга, чтобы первыми скрыться за бархатным занавесом и, сквозь насыщенную грехами решетку, передать служителю Бога свои большие и мелкие грехи. „Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa", повторяли троекратно, ударяя себя в грудь, и потные, взволнованные поднимались с колен, уступая место другим.

Мужчины, женщины и дети, красавицы и уроды, калеки и люди полные сил с одинаковым выражением глаз, с одной и той же заботой на лице

— беззащитная масса человеческих тел в дни великих потрясений. Так, должно быть, выглядели наши далекие предки, пытавшиеся спастись в своих языческих храмах от текущей на них огненной лавы.

Как и тогда, — смерть настигала всюду: на переполненные молящейся толпой храмы падали неумолимые бомбы. Тогда одни окружали ксендза, распластывались в смирении на каменных плитах, другие выскакивали на улицу, устремляли растерянный взор на голубое сентябрьское небо, третьи тут же в храме, срывали с себя рубахи, рвали на узкие полосы и перевязывали ими раненых.

Девушки и юноши, беспрерывно кружившие среди пожарищ и руин, на руках переносили искалеченные или мертвые тела в автомобили и развозили по госпиталям, больницам и аптекам. Там дни и ночи кипела работа. Сотни и тысячи отрезанных рук и ног закапывались в садах и скверах. Поднимая тяжетые плиты тротуаров, зарывали их даже на улицах.

Под конец осады Варшава была сплошным кладбищем. В Лазенках, на Уяздовских Аллеях, на Крулевской улице мелькали кресты и надписи «Здесь лежит Ванда Квятковская 10-ти лет». «Казимир Борткевич 5-ти лет». «Ядя Нижинская 8-ми месяцев». Избиение младенцев, как во времена царя Ирода.

В старом городе, за «Железной Брамой», было то же самое. Синагоги не могли вместить всех, кто в смертельной тревоге желал сбросить с себя на-

копившуюся моральную грязь. Многие лавочники раздавали даром свои товары и сотни детей толпились перед засиженными мухами витринами. Пока их матери, со сбившимися париками, плакали в больницах и аптеках; пока узкогрудые с пейсами и бородами, в длиннополых черных одеждах, отцы их спешно учились стрельбе из винтовок и пулеметов; пока подростки обоего пола тяжелыми кирками и лопатами рыли окопы — вымазанные шоколадом, повидлом, с «мацами» и «обважанками» в руках, дети, как стаи птиц, носились по кривым переулкам, играя в войну. В этой торговой нации, под влиянием великого шока, просыпались воинственные черты царя Давида.

Эта часть Варшавы была их собственностью, их колыбелью и они, под водительством раввинов, решили защищать ее до последней капли крови и детям передалось настроение взрослых. Еврейские делегаты советовались с поляками, более опытными в военных делах. Часть еврейской буржуазии покинула комфортабельные кварталы польского города и перешла в гетто, чтобы умереть среди своих.

На этом трагическом фоне, почти в каждом доме, разыгрывались драмы.

Зося жила в предместьи Варшавы. Над ее головой, как стаи воронов, тянулись к центру города немецкие аэропланы. Посеяв смерть среди польского населения, летели в гетто. Там — забавлялись вволю, спускаясь чуть ли не на крыши домов. Освободясь от смертоносного груза, с чувст-

вом исполненного долга, возвращались за новыми распоряжениями. Зося, выглядывая из окна, провожала их глазами.

— Зачем ты выглядываешь из окна? — упрекал ее муж. — Ведь если бомба разорвется на улице, тебя может ранить осколком.

Она неизменно отвечала:

— Бог не допустит. Разве я не молюсь Ему с глубокой верой? Разве я не мать маленького, невинного ребенка?

Она брала на руки своего двухлетнего сына, страстно его целовала, прижимала к груди, щекотала его под мышками, пересчитывала его крошечные пальчики. Мальчик смеялся, обхватив ее шею, а она кричала:

— Ой, ой, ой, больно! Ой, ой, ой, задушишь меня!

Альфреда раздражала эта неуместная веселость, а Зося оправдывалась:

— Мой друг, я — естественная. Я плачу, когда мне грустно, смеюсь, когда — весело. Я рада, что сейчас смерть пролетела мимо, не заметив наш дом. Правда, Янечек, что и ты рад этому? Поблагодари за это Боженьку.

Она брала руку ребенка и этой безгрешной рукой крестила всех трех. Альфред, неверующий, отмахивался:

— Оставь меня в покое!

— А вот и не оставлю, ни за что не оставлю! Если даже в такое время ты не обратишься к Богу, то когда же?

— К Богу . . . к Богу . . . — бурчал он сердито. — Сейчас меньше чем когда-либо я могу поверить в Него. Зачем он допустил этот ужас?

— Прошу тебя, не кощунствуй. Ты все людские гадости хочешь свалить на Бога? Для чего людям дан разум, если не могут победить в себе животные инстинкты?

Только завывание сирены прекращало их религиозные споры, и они умолкали, пока тяжелые моторы сотрясали стены их дома и звенели стеклами.

Но до 17 сентября в каждом польском сердце теплилась хоть маленькая искра надежды на победу. Когда в свою очередь и большевики напали на Польшу — голубое сентябрьское небо показалось людям свинцовым. «Мы оказались в мышеловке» — передавалось из уст в уста. У всех, буквально у всех, пропал интерес к жизни. Но кто-то один, а за ним другой, третий, и потом все без исключения решили: «Умереть свободными. Будем защищать каждый камень, каждую пядь нашей земли».

Зося, узнав новость, закрыла лицо руками и крупные слезы потекли из ее глаз.

— Боже, Боже, — шептала она, — зачем Ты оставил нас?

Муж не утешал ее. Он тяжелыми шагами мерил комнату — как зверь в клетке. К открытому окну подошли соседи.

— Конец. Конец Польше. Мы не можем бороть-

ся и с теми, и с другими. Мы можем или сдаться, или умереть.

— Умереть! Умереть!

. . . . . . . . . . . . .

Теперь и поляки побросали свои лавки и мастерские. Никому не нужны были деньги — не унести их с собой в могилу.

Янечек начал плакать от голода и Зося сказала мужу:

— Пойду купить хлеба и молока.

Альфред выглянул из окна, изучая небо. Пока — чистое.

Она вышла, как была, в одном платье и с непокрытой головой. Муж проводил глазами стройную фигуру жены. Еще раз выглянул из окна, подумал: «Какой кошмарной стала жизнь! На минуту страшно расстаться». Ребенок плакал и рвался за матерью. Отец взял его на руки.

— Не капризничай! Мама сейчас вернется.

Лавочник стоял в кучке людей и равнодушно сказал подошедшей Зосе:

— Да идите сами, возьмите, что вам нужно.

Она вошла в пустую лавку, взяла с полки хлеб, налила в бутылку молока. Выйдя на улицу услышала знакомое гудение. Инстинктивно спряталась в подъезд чужого дома, но сейчас же смело вышла наружу. Гудение приближалось и она ускорила шаг, чтобы скорее добраться домой. «Только обогнуть этот угол, а там уже у себя, с мужем и ре-

бенком». Под пролетающим низко бомбовозом она перекрестилась.

## II

— Это совсем где-то близко, совсем близко, — шептали перепуганные, обсыпанные известкой люди, сбившиеся в кучу, как стадо овец.

Альфред, с ребенком на руках, подошел к выходной двери, выглянул на пустынную улицу. Его оттянули.

— Зачем вы рискуете?

— Жена ... Там моя жена, — глухо прозвучал его голос.

— Что с ней? Где она?

— Вышла в лавку до этого взрыва и не возвращается ...

— Наверное где-нибудь пережидает, — утешали его соседи.

— Мама ... мама ... — всхлипнул опять Янечек.

Отец прижал свое лицо к лицу сына:

— Вот она идет ... вот сейчас ... сейчас ... гадкие птицы улетают.

Пронзительно завыла сирена.

— Значит еще новые летят! Не спуститься ли лучше в погреб?

— Ну и засыплет живьем.

— Кто нас откопает?

— Откопают ...

— Когда уже задохнемся ...

Люди жались около лестницы, сидели на ступеньках. Почти все покинули свои углы. «И смерть на людях красна», — шутили некоторые. Враги и друзья касались друг друга телами, обменивались впечатлениями, давали друг другу советы.

— Накиньте на плечи платочек.

— Возьмите, на всякий случай, документы.

— Держите противогаз наготове...

Альфред думал. Безрадостны были эти думы, все более и более безнадежны... «Вот она лежит где-нибудь на улице... в чужом подъезде... в погребе... Изувечена... может быть убитая... В ее глазах страх... изумление... обида на Бога... «Разве я не мать маленького ребенка?»

Впервые со времени войны нет около него этой бодрой, энергичной женщины. Она выходила его и Янечка от гриппа, и за 17 дней первый раз покинула их на минуту, чтобы... больше не вернуться?...

Как его нервы напряжены в этом вынужденном бездействии, и как дрожит этот бедный ребенок, настойчиво зовя свою мать. Соседи дали ему карамельку; он сквозь слезы рассматривает цветную бумажку, не знает, как развернуть. Отец помогает ему, кладет ему конфетку в рот. На детском лице удовлетворение, и стоящие рядом говорят:

— Счастливый возраст.

— Еще! — протягивает он руку к женщине, и она ищет в сумочке.

— Нет... больше нет!

Его глаза недоверчивы, разочарованы, и у нее мелькает мысль: «Поднимусь к себе... Там у меня целый фунт. Но, а если... не дойдя, или не успея сойти, рухну вместе с лестницей? Нет, нельзя рисковать, хоть и жалко смотреть в эти бедные детские глаза. Жизнь стала животная... шкурная жизнь»...

Альфред спрашивает соседей, нет ли у них чего-нибудь для ребенка, чтобы отвлечь его внимание от этого страшного гудения. Маленькая девочка лет пяти-шести, несмело приближается.

— Вот, — говорит она и протягивает куклу.

Альфред, тронутый до слез, берет. Девочка, весело подпрыгивая, бежит в объятия матери и оттуда смотрит, как принят ее царственный дар.

Янечек держит куклу за волосы, пытается выдавить ей глаза. Он мужчина и не умеет обращаться с куклами. Девочка, встревоженная за судьбу своей «ляльки», требует ее обратно. Но он не отдает, держит куклу над головой отца и смеется.

— Отдай! Отдай! — хнычет девочка.

«Всюду насилие, — думает Альфред. — Этот летчик там, наверху, тоже, наверно, смеется над нашим страхом, над нашим горем... Есть ли Бог?»...

На мгновение прервавшиеся мысли возвращаются снова. «Я рада, что смерть пролетела мимо, не заметив нашего дома»... смеются красивые свежие губы двумя рядами белых ровных зубов. Да... да... она пролетела мимо потому что была

утомлена жатвой в центре Варшавы, но вот сейчас она заинтересовалась этим маленьким предместьем ... его зелеными садиками ... мирными, многодетными жителями ... Заинтересовалась, может быть, золотоволосой Зосей, и выискивает ее жадным взглядом, чтобы свести с ней счеты за этот счастливый, беззаботный смех, никому не вредящий и все же шокирующий тех, кто глубоко вдумывается в события.

Зося не хочет думать глубоко, она считает это бесполезным занятием, даже грехом. «Смирись, человеческий ум, сдайся на волю своего Творца. Он за тебя решает, давно решил ... когда еще тебя не было на свете». Она не боится смерти, не жалеет умерших детей — «ангелам место в небе» ... «Христова невеста» — не так ли называла себя до брака? И он настоял, чтобы она бросила своего Небесного Жениха ради него, и что хуже всего: вел себя неблагородно по отношению к Нему, пытался вырвать Его из сердца жены. Но она твердо решила: «моя миссия на земле — привести тебя к стопам Христа».

Альфред думает: «Если смерть от Бога, то она Зосю не тронет, если от дьявола то» ... Зося утверждает, что существуют две смерти: от Бога — тихая, спокойная, в глубокой старости, и насильственная — от дьявола». Но иногда воля Божья совпадает» ... «Что говоришь, что?» — загоняет ее Альфред в тупик. «Ничего» ... — смущается она. — «Нельзя врываться в тайны Божьи. Грех подвергать их анализу, критике» ... «А, а,

поймал тебя, поймал! — смеется Альфред, — то, что ты сказала — худшее из кощунств»... Ее голубые глаза грустно смотрят на мужа: «Зачем ты смущаешь мой ум... мой жалкий человеческий ум... вместо того, чтоб не рассуждая — идти рядом со мной к Свету?»

Зося не любит философии, никогда не читает ничего «серьезного». Как же он хочет, чтобы она разрешила проблемы Жизни и Смерти, проблемы, над которыми тщетно бьются философы всего мира.

Вспоминая все это, он серьезно решает в душе: «Я не имею права расшатывать ее веру, ее детскую, наивную веру — это безнравственно, это преступно. Или я пойду за ней, или пойдем параллельно, не насилуя друг друга. В конце концов, от меня зависит прекратить наши бессмысленные споры. «Зависело» — сказал ему внутренний голос. «Зависит», будет *зависеть*, — с отчаянием возразил он, пораженный жутким предчувствием. *«Зависело, зависело!»*

## III

Придя в себя, Зося подняла голову. Огляделась направо-налево. «Что такое? почему я лежу на тротуаре? Что это за руины? чьи это ноги? Ага, вспоминаю... был взрыв... я бросилась на землю... или меня бросило... в тот же миг ударило

меня по ноге, словно топором! и затем — ничего... Но я жива? Я не изуродована? Я не ранена?»

Она издала радостный крик:

— Я жива! жива!

В груде камней кто-то застонал.

«Кого-то ранило. Надо помочь».

Она приподнялась на локти, хотела подтянуть колени но только одно ей повиновалось — в другой ноге, у самого основания, почувствовала нестерпимую, острую боль.

«Боже, святый Боже, что со мной? что? почему не могу встать? почему эта боль?»

— На помощь! на помощь! — закричала пронзительно но завыла сирена, но загудели где-то близко моторы, и ее зов не был услышан.

«Что делать?» Несколько мгновений она лежала неподвижно, положив голову на скрещенные руки. «Хладнокровие, прежде всего, хладнокровие. Если я не могу идти — я могу ползти. Главное — обогнуть этот угол, а там Фред увидит меня или услышит мой зов».

И она поползла. Каждое движение вперед стоило ей невероятного усилия и страданий. Повернув голову назад, она увидела красный след... «Что это? Я истекаю кровью... и моя нога»...

Закинув руку назад, начала ощупывать ногу. Всюду пальцы ее проваливались в липкую щель... «Нога отрезана, ее держит только чулок с резинкой корсета» — молнией промелькнуло в ее голове. «Неизвестно... неизвестно...» — пы-

талась себя успокоить. «Надо отстегнуть чулок ... тогда ... только тогда узнаю ...»

Ее пальцы лихорадочно отделили чулок от корсета и она поползла вперед.

Опять радостный крик:

— Нога держится! О, Боже, Боже, как страшно было бы жить калекой, как безумно страшно! уж лучше смерть.

Ее утомило движение и эти переходы от радости к отчаянию и обратно. Над ней с грохотом проносились аэропланы но ее голова работала с необыкновенной ясностью: «Нечего и думать, что меня услышит Фред ... Надо доползти до этого угла и тогда опять кричать, потому что рана глубокая и кровь течет ... течет ... Как близко этот угол и как далеко ... Никогда не доберусь до него» ...

Она вспомнила, что в таких случаях молитва делает чудеса, но тут же сказала себе: «Нет! Я молилась, я верила, я надеялась на Бога и Он меня не защитил. А, а, как это все кончилось мизерно, как глупо, как бесконечно глупо» ... Жена атеиста ... что ж, пусть будет так». И она, как Фред, будет надеяться только на собственные силы, жить только своим разумом. Разве она не спряталась сначала в подъезде? Инстинкт, присущий всем животным толкнул ее туда, а она, слепо веря в защиту Всемогущего, вышла на улицу, и вот результаты! Если даже нога срастется — она будет хромой, но вернее, что ее отрежут, потому что ...

Она приподняла пропитанный кровью низ платья, проползла вперед и смотрела веря и не веря, на свою ногу, почти отрезанную, которая держалась только на куске кожи, Из глубокой раны сочилась кровь . . .

— Боже, Боже, за что, за что, так ужасно, так жестоко Ты наказал меня?

И тогда . . . заснула ли? или стала страдать галлюцинациями? . . Из-за угла, навстречу ей, протягивая к ней руки, шел Некто, прозрачный, как воздух, видимый и невидимый, безгранично близкий, бесконечно далекий . . . Подойдя, он расплылся, исчез . . . Нет, не исчез, а стал ею . . . ее телом, ее душой, каждой мыслью ее, словом, взглядом . . .

Сон? видение? не все ли равно? раз душа смирилась, раз слезы перестали литься, и рука спокойным, привычным жестом касается лба, груди и плеч.

И опять видение: ее покойная мать рядом с ней. Качает ее, словно в колыбели . . . «Разве я маленькая?» — думает Зося, а мать тихонько поет, как она, Зося, пела еще недавно, усыпляя сына:

Spij, dziecinko już . . .
Piękne oczki zmruż . . .

## IV

Это был бунт. Слепой, безудержный, как все бунты на нашей земле. Природа дает нам пример: придавленные тяжелыми пластами, залитые водами, тайные силы скопляются в кратерах вулка-

нов. Вырываются наружу торжествующие, победоносные.

Назревающие, из поколения в поколение, обиды, неудачи, усталость — вырываются из человеческой души в виде войны, революции, ниспровержения идолов или в единичном случае в виде убийства, грабежа, упреков и проклятий.

И потом опять, на некоторое время, тишина, спокойствие, неискреннее смирение, пугливое, беззащитное „mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa".

У подножия заглохших вулканов (заглохших ли?) строятся дома; в разрушенных войной, революцией, странах — устанавливается новый, не способный всех удовлетворить, строй; после оскорблений и упреков завязываются между помирившимися людьми какие-то новые, все такие же бестолковые отношения. Мир ли это? Нет! только необходимый антракт между двумя актами разыгрывающейся трагедии.

«Ты все людские гадости хочешь свалить на Бога», — вспомнились Альфреду слова жены. Людские ли? Разве это люди устраивают землетрясения, потопы, плюют из кратеров огненной лавой? Они только копируют природу. Им простит Господь. Их уже давно простил, ссылая на землю своего Сына, который позволил себя опозорить, окровавить, распять . . .

Страдания и смерть. А в промежутках то взрывы гнева, то раскаяния. то опять гнев. Зачем нам логика, если все нелогично вокруг? Зачем нам надежда, если мы заранее обречены? Я не просил

своих родителей дать мне жизнь, и вот встретил эту женщину, именно эту, а не другую, и по обоюдному согласию мы тоже создали ребенка, который не раз проклянет свою жизнь; бессознательно, где-то в тайниках своей души, проклянет меня и ее.

Альфред говорил. Люди слушали; одни — потупив головы, другие — с жадным любопытством: что еще скажет он?

Он проклинал клочок земли, зажатый между двумя гигантами. Это его Родина. Кто навязал ему ее? Родители, а тем — деды, прадеды. Здесь лежат их кости, и это ради этих костей должна была пролиться кровь этой молодой женщины?

Люди понастроили кучу домов, назвали это место столицей, и туда, по приказу фанатика, стремятся на подлое дело сотни зловещих машин, управляемых руками рабов. И с той, и с другой стороны полный надежды крик: „Bóg z nami!" „Gott mit uns!"

Фальш, великая фальш! Бог не может помогать одновременно убийце и жертве. Бог не мог создать этот мир — его создал дьявол. Мы дети дьявола.

— Правда . . . правда . . . — раздались голоса.

— Неправда. Мы дети Бога . . . — сказала слабым голосом Зося, и стало тихо вокруг. — Злой дух смущает нас и это его гнев накапливается на земле. Но будет, будет . . . когда мы станем мирными, как деревья, как цветы . . .

Все тише становился ее голос. Голубые глаза

медленно, с сожалением покидали лицо мужа. Когда принесли и положили рядом с ней, заснувшего Янечка, земная боль — смесь бунта, мольбы и упрека — исказила на мгновение ее холодеющие черты...

***

Муж атеист, как это почти всегда бывает после смерти жены «обратился» к Богу. «Наивная, детская вера» Зоси изгнала из его ума все философские рассуждения и выводы.

До 1943 года я переписывалась с ним, стараясь внести в его суровую, почти монашескую жизнь хоть немного радости и успокоения. Семья хотела женить его вторично, и, быть может, эти именно планы принудили его бежать в Ченстохов, где теряется его след.

Янечек воспитывается в сиротском доме и не помнит ничего из прокатившихся над его головой событий. Когда-нибудь, если посчастливится мне с ним повидаться, я передам ему письма его родителей и этот рассказ.

## НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДАР

Самым выдающимся из всех русских врачей в эмиграции был безусловно профессор Агаджаниан. О нем я слышала еще в Сербии от баронессы Врангель, жены полковника, бывшего коменданта Варшавы, что своими пассами он вылечил ее от паралича ног.

— Я все свою молодость провела в кресле, совсем не могла ходить. Чем только не лечили меня светилы мира: ванны, массажи, уколы — ничто не помогало! Зря теряла деньги, глупо не веря, что есть люди, которые как Христос делают чудеса. Считала их шарлатанами, потому, что не от всех болезней могли они вылечить, бывали и у них неудачи. И вот приехал профессор Агаджаниан по моему вызову в Варшаву. Человек как человек, не произвел на меня особенного впечатления.

— Сколько лет болеете?

— Девять. Вся моя молодость прошла в кресле.

— Почему не обратились ко мне раньше?

— Не верила в гипноз.

— А теперь верите?

— Нет, но решила испробовать этот необыкновенный способ лечения.

Он задумался. Осмотрел мои ноги.

— Болезнь уже сделала свое дело — ноги ваши совершенно атрофированы и главное: нет у вас веры в чудеса. Трудно врачу справиться с болезнью, если пациент не питает к нему абсолютного доверия. Даже Христос сказал: «Вера сдвигает горы».

Слова его были самые обыкновенные, но по мере того как он говорил я стала верить, что чудо случится, что он вылечит меня. И вот начались сеансы. Слуги усаживали меня с обнаженной спиной на табурет и за моей спиной, не прикасаясь ко мне он делал свои пассы. С каждым сеансом я чувствовала себя все лучше и лучше и наступил момент когда он совершенно вылечил меня. Я могла не только ходить, но и танцевать и заниматься спортом».

— о —

Я в свою очередь рассказала ей несколько удивительных случаев.

Познакомилась я с мужем в Польше, еще до революции, когда Русская армия отступала под напором немцев. Взят уже был Люблин, а мы жили в Любартове, небольшом местечке, в двухэтажном домике выходящем прямо на шоссе. Сначала мы видели русских и польских беженцев бегущих из горящих сел, ибо отступая, Русская армия сжигала все и взрывала мосты. Людям не оставалось другого выхода как бежать, уводя с собой свой домашний скот. Все дороги были забиты повозками

и даже колясками. Странно было видеть русских полицейских в роли беженцев, отступающих вместе с польскими мужиками, и тут же колонны пленных немцев с гордым, независимым видом... Денщики метались в поисках квартир для своих офицеров, и мы отдали весь наш дом, оставив себе только одну комнату и кухню. Весь верхний этаж был занят под бюро батальона, а в салоне поселился командир батальона полковник Гоувальд (немецкого происхождения) женатый на польке.

Мать моя, только что овдовевшая, и оставшаяся без средств к существованию, содержала нас всех: трое детей и старшую сестру (приехавшую с фронта и заболевшую тифом) тем, что готовила обеды. В столовниках не было недостатка, начиная с полковника Гоувальда, все писари и делопроизводитель питались у нас.

Полковник полюбил мою семью и зная польский язык восхищался моими стихами и рассказами предсказывая мне славу, а офицерам приходящим к нему с докладами (среди которых был и мой муж) пригрозил, что если они себе что-нибудь позволят в отношении меня — будут иметь дело с ним. Бои почему-то остановились и он 3 недели прожил у нас, за это время муж мой влюбился в меня, и с позволения полковника вывез всю нашу семью, купив у разоренного польского графа ландо и дав 5 повозок своего походного транспорта, чтобы мы могли вывезти с собой нашу мебель.

Путешествовали мы с траспортом через разо-

ренную боями Польшу, свирепствовали эпидемии: дизентерия, тиф холера. Валялись по краям дороги трупы людей и лошадей, падали вокруг нас бомбы из русских и немецких аэропланов. Остановки были все короче, и тут как на беду разболелся у меня нижний большой коренной зуб. Страшная боль, мучила меня. Случались и флюсы. Необходим был дантист, но об этом нечего было и мечтать. Кто-то дал мне кокаиновые капли, и вот я клала в дупло кусочек ваты с кокаином и тогда боль утихала, но как я страдала пока меняла вату!

В русском военном обществе отступающей армии у нас было все больше и больше друзей. Всюду нас приглашали и делали нам подарки. Однажды я зашла к капитану Репину и встретила за чайным столом капитана барона Вольфа (немецкого происхождения, женатого на русской). Он был удивительно похож на моего отца, который недавно умер от рака желудка и горла.

— Как вы похожи на моего отца, — сказала я ему, и тут же добавила с гордостью: — он был настоящим гипнотизером и кроме того видел пророческие сны: за 10 лет вперед он предсказал мировую войну, которая кончится русской революцией. Спустя год он предсказал свою собственную смерть, тоже за 10 лет вперед.

— Я тоже гипнотизер, но не предсказатель. Однако я могу загипнотизировать ваш зуб, чтобы вы не страдали, пока не сможете обратиться к дантисту. И заодно избавлю вас от вашего флюса.

Все с интересом уставились на нас.

— Снимите прежде всего с лица повязку и станьте посередине комнаты.

Я исполнила его волю и, не спуская с меня глаз, он обошел вокруг меня, потом остановился против меня и стал мне внушать:

— Зуб у вас перестанет болеть, и вам не нужно прибегать к кокаину. Я его гипнотизирую на *целый год*. Ровно через год боль возобновится, но вы уже будете иметь возможность обратиться к дантисту.

Он не сказал, почему я буду иметь возможность, но вышло так, как он предсказал. Дойдя до окрестностей Риги, бои на долгий срок остановились. Началось братание немцев с русскими, общие кутежи в окопах. Начались митинги, чтоб прекратить войну вообще, и после манифеста царя, его отречения от престола в пользу наследника, требования солдат все росли и росли. Чем больше было уступок со стороны правительства, тем труднее было справиться с разбушевавшимся народом. Солдаты офицерам не отдавали чести, вместо «Ваше благородие» говорили «господин», добавляя чин, засорили чистенькую столицу Латвии семечками, стали неряшливыми, грязными, стали пьянствовать и драться друг с другом — вообще это были уже не солдаты, а банда распущенных мужиков.

Свадьбу мы праздновали когда Царь играл еще роль, когда солдаты пели каждый вечер русский национальный гимн: «Боже царя храни...»

Боль в зубе возобновилась и я поехала в Ригу

к дантисту, который не хотел верить, что такой испорченный зуб, мог быть загипнотизирован, и вырвал мне его, сказав с удовлетворением: «Вот теперь он не будет вас мучить, а про гипноз не советую никому рассказывать, никто никогда вам не поверит». Думала ли я тогда, что и во мне проснется отцовская сила, когда я, вместо уколов, накладывала на больное место своим больным руку? Заметил эту силу во мне хирург, с которым я работала. Заметил и другую, еще более непонятную: я различала, какой раненый выздоровеет, а какой умрет, и однажды перед сложной операцией он обратился ко мне: «Вы видите смерть в его глазах? если да, то я не буду делать операцию. Зачем его мучить?» Да, я видела смерть, но мой долг был ответить: «Вижу, но делайте операцию, чтобы вас не мучила совесть, что поверили мне. Я же не Бог, могу ошибиться». Другие хирурги скептически относились к моему дару и даже высмеивали меня. Но совершала я и ошибки, которые стоили жизни самым близким мне людям. Так уже в Париже я обратилась к знаменитому русскому хирургу, когда мне понадобилась операция апендикса. Он сделал 33 тысячи операций удачно, а мне сделал очень плохо. Я не могла больше работать, следовательно не могла помогать своей матери, пришлось объяснить ей причину. Мать всполошилась: «Попала в руки врачей, да еще хирургов — не выживет», — говорила она обо мне моим сестрам и братьям. А в это время я мучительно расшифровывала свой сон, думая, что он относится не к ма-

тери, а ко мне, что это мой труп лежит накрытый простыней и держит в руках мое фатальное письмо, а над трупом на облаке сидит хирург, виновник трагедии. Там в свою очередь врач отравил мать своим лекарством. Она его только один раз приняла, но этого было достаточно: сердце не выдержало и мать умерла. Долго я болела, виня и хирурга за мою инвалидность и себя за свое письмо. Вылечил меня своими «пассами» профессор Агаджаниан. Лежала я с сильным артрозом в пояснице, не могла двинуться. Один за другим менялись врачи. Наконец решила вызвать профессора Агаджаниана.

— Что у вас?

— Страшная боль в крестце.

— Встаньте! — сказал он спокойно.

— Что вы, профессор, я не могу двинуться, я словно прибита к постели.

— Встаньте! — сказал он властно и... я встала.

— Подымите рубашку.

Я подняла и он что-то шептал за моей спиной делая «пассы».

Все как рукой сняло. Я легла не чувствуя никакой боли.

— Через два дня придете ко мне. Болезнь запущена. Я вас буду лечить пассами и электрическим массажем высокого напряжения.

Почему я не обратилась к нему сразу после неудачной операции? Он бы меня вылечил и я не напугала бы мать своим письмом. До сих пор вспо-

минаю это с горечью но и мать в свое время сделала ошибку, доверив своего 11-летнего сына врачам и госпиталю. Отец в то время отсутствовал, иначе протестовал бы, ибо он сам боялся врачей как огня и признавал только систему моей матери, которая самоучкой изучила медицину и ботанику и лечила только целебными травами от многих безнадежных болезней. Спасла даже свою ногу от гангрены, которую хирург хотел ампутировать.

Читала я недавно интересную книгу знаменитого знахаря Messegué и вспоминала тысячи вылеченных матерью безнадежно больных людей. За визиты она не брала денег: наоборот: давала приготовленные ею лекарства бесплатно. Но и она, как сказано выше, допустила ошибку, которой до конца жизни не могла себе простить. Вылечив своего сына от суставного ревматизма, которым он всю зиму болел из-за сырой квартиры, она его почему-то отвела в госпиталь. Мальчик имел непропорционально большую голову, но это ее не смущало: «в большой голове много талантов, в маленькой талантов нет». И действительно он был прекрасным математиком, чудно рисовал и писал стихи.

Однажды, предчувствуя свою трагическую смерть, нарисовал свои собственные похороны. Вот я иду за его гробом рядом с матерью, держа за руку самую младшую сестру, а мать держит другую, немного постарше.

— А где отец?

— Он идет отдельно, по тротуару.

— Почему отдельно и почему в шляпе?

— Потому отдельно, что в шляпе. Будет очень холодный день и он боится простудить свою лысину.

Я хотела показать этот рисунок матери, но он запротестовал:

— Ни в коем случае.

— Почему?

— Мама будет себя винить в моей смерти. Я этого не хочу. Что суждено все равно случится.

Вспоминаю я этот рисунок в связи со смертью моего мужа. Как мать, неизвестно почему, отвела своего сына, вылеченного ею, в госпиталь, где врачи ему сделали, без ее ведома, операцию мозжечка, выкачав ему две ложки жидкости, что вызвало общий паралич и вскоре смерть, так и я, после долгих колебаний и вещих снов, согласилась дать мужу лекарство, которое сократило ему жизнь. А живи в то время профессор Агаджаниан, он бы его вылечил своими «пассами», и меня бы не мучила совесть за свое безрассудное повиновение врачам.

«Слушайте вашу интуицию, она у вас исключительная!» — говорил мне хирург Керопиан, с которым у меня связано столько служебных и дружеских воспоминаний.

Если он находится в эмиграции, я бы очень хотела с ним встретиться перед смертью. Ему столько же лет, сколько было бы моему мужу — возраст почтенный, но живут еще дольше.

## ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

У всякого нормального человека имеется пять чувств, шестое чувство принадлежит только животным. Так, например, крысы бегут из обреченного на гибель корабля, собаки воют на «смерть», которую человек не видит, кошка измеряет глазами расстояние, прежде чем прыгнуть, домашняя тварь убегает от человека, который готовится ее зарезать, если даже в его руках нет ножа. Человек ничего не видит, ничего не знает... Но есть исключения: мой отец за 10 лет до русской революции видел ее во сне, свою собственную смерть он тоже видел за 10 лет вперед. Будучи ребенком я записала дату. Да, святой Иосиф ему сообщил это во сне. Сначала сказал: будешь жить до 65 лет и ушел, через некоторое время вернулся и сказал: будешь жить до 66 лет. Теперь я думаю, что смертельная болезнь (рак) которая свела отца в могилу и начавшаяся в возрасте 65 лет и была уже смертью. Рак начался в желудке и перешел в горло, но отец, всю жизнь соблюдавший строгую диету не страдал и голос его не изменился, только он худел и слабел. Если б тогда, 60 лет тому назад, он обратился к хирургу, тот, вероятно, сделал бы ему операцию желудка и он бы жил, но видно такова была его судьба, что 10 лет жизни ему казались

очень отдаленным сроком, да и не любил врачей и не верил в их знания...

А до этого он предсказал смерть маминому дяде, который, навещая племянницу, не стесняясь говорил ей при нем: «Вместо того, чтобы бедствовать с неудачником мужем, возвращайся с детьми в имение, иначе сделаю тестамент в пользу твоих кузин». Однажды отец ему возразил.

— Делайте сейчас тестамент иначе не успеете. Ровно через год вы будете уже на том свете.

— Экий колдун! — воскликнул презрительно дядя. — Хорошо что я не верю в предсказания, а то бы испугался.

Мать не одобрила отца за его жестокость и старалась смягчить его слова: — Все зависит от Бога. Без Его воли волос с головы человека не упадет.

— Вот именно! — подхватил отец. — Все зависит от Бога, и это Бог решил вас наказать за унижения которым вы меня подвергали, когда я был вашим секретарем, — и продолжал: — Ровно через год вы пойдете, в сопровождении вашего заведующего, взглянуть как работают в поле ваши рабочие. Будет чудное летнее время, поравнявшись с колодцем вы подымете руки вверх и воскликнете: «Какая прекрасная штука жизнь!» и тут же упадете мертвым.

Дядя побледнел и несмотря на то, что любил и поесть и выпить, весь этот год держал строгую диету. И все же сон исполнился. Умер он без тестамента и так как кузины моей матери были родными племянницами, а мать моя дочерью двоюрод-

ной сестры богача, то без тестамента она ничего не получила.

Всю ночь собаки выли и слуги повторяли: «Не к добру это, к чьей-то смерти». И никому в голову не приходило, что смерть помещика уже бродила вокруг дома. Дядя так крепко спал, что даже этот тревожный вой не разбудил его. Ему не было даже пятидесяти лет.

Бабушка моя с детьми от второго мужа жила в Варшаве и у отца было желание, чтоб день своих именин она провела со старшей дочерью (моей мамой) и с тремя внуками. Бабушка отказалась, так как она не любила моего отца за его трагические предсказания и за чрезмерную гордость. Винила его также в смерти своего кузена, которому так грубо предсказал трагический конец. Но у нее была восьмилетняя дочка, у которой был дар ясновидения. Накануне трагедии, стоившей ей и ее матери жизни, она не спала и видела как вошел ее мертвый отец и наклонившись над кроватью моей бабушки перекрестил ее, потом подошел к ней и тоже перекрестил ее... Затем он отправился с спальню своего четырнадцатилетнего сына. Вышел он оттуда со спокойным лицом и не отворяя двери исчез.

Ночью все собаки выли, а накануне трагедии девочка настойчиво просила свою мать, чтобы ей купили образок святой Софии. Бабушка была очень реальным человеком и не верила ни во что сверхъестественное. Собаки выли, а она крепко спала. Утром дочка рассказала ей что отец прихо-

дил ночью, что крестил ее и мать, а она не верила.

— Тебе это все приснилось. Не верь снам.

— Я не спала.

— Не заметила как вздремнула. А мертвые не приходят с того света. Спят сном вечным превращаясь в прах. Вот надень это голубое платье, ты будешь в нем красива как куколка. Скоро придет пани София и мы все три Софии справим весело именины.

Посмотрев на часы она заволновалась.

— Виктор! — позвала она сына. — Беги в кондитерскую, чтобы скорее прислали заказанный торт.

— Мария уже пошла.

— А ты пойди тоже, она может быть где-нибудь задержалась поболтать со знакомой соседкой. Пани София вот-вот придет и я хочу чтобы торт уже был на столе.

Мальчик вышел, а через несколько минут раздался страшный взрыв, который моментально поглотил деревянную лестницу вместе с приглашенной подругой. Вся квартира наполнилась дымом, потом огнем. Испуганная бабушка (очень красивая сорокалетняя оперная певица) подбежала к окну, открыла его настеж. Уже были вызваны пожарные, но теряя голову бабушка схватила девочку, которая тоже задыхалась от дыма, перекрестила ее и, видя что соседи уже разложили матрацы и перины, столкнула ее с подоконника вниз. Девочка упала недалеко от матраца, который мог бы ее спасти. Ошалевшая мать увидела, что ребенок убит,

перекрестилась, выскочила и упала рядом, прямо на мостовую. Она еще мучилась с полчаса, а над трупами матери и сестры стоял как вкопанный четырнадцатилетний мальчик с огромным тортом в руках.

В это время вдали от Варшавы, молясь за здоровье своих именинниц, мать моя, окруженная тремя детьми, начала вдруг рыдать. Люди не понимали: одни кинулись ее утешать, другие осуждали ее, что мешает ксендзу служить обедню, а она все рыдала, ломая руки. Пришлось ей уйти из костела, так как дети тоже начали плакать...

Виновники взрыва успели выскочить из погреба и носились по улице горящими факелами. Это были жених и невеста, которые вздумали целоваться с зажженными свечками в руках. Свечка упала в бочку с бензином и стоила жизни пяти человекам. Вечером мои родители получили телеграмму, а вслед за ней приехал потрясенный трагедией мальчик и привез с собой этот запоздавший торт, который спас ему и прислуге жизнь.

Отец же видел во сне, за несколько дней до трагического события, глубокую яму, на дне которой лежала мертвая курица и рядом с ней цыпленок, потому так усиленно уговаривал тещу справить свои имененины вдали от катастрофы. Он чувствовал, что сон этот вещий, но не смел его рассказать жене, а ее рыдания в костеле были предчувствием трагедии, которая совершилась как раз в это время...

## НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

*Памяти матери*

Я родилась в странной семье. Нас было много, но все мы жили так, словно случайно и только на короткий срок поселились под одной крышей. Не было спайки. Вкусы и таланты у всех были разные. Сестра Ара писала картины, Янек разводил голубей, Марыля предпочитала балы и маскарады, Виктор на целые недели исчезал из дому, питаясь дикими грушами, яблоками, лесными орехами и ягодами и даже просто цветущей акацией.

Худой и загорелый, скрываясь от суровых отцовских глаз, он появлялся иногда на кухне, получал от матери немного «живности» и опять в путь... От него пахло лесом и лугами, свежей рыбой и печеным картофелем.

Этот юный бродяга внушал мне и восхищение и страх. Я любила наряды и была брезглива, близости к босоногому брату не очень-то допускала, но затаив дыханье слушала как он рассказывал о своих приключениях.

Наша мать, замученнея домашними заботами, хоть и корила Виктора за его побеги, а все же, как и я, завидовала ему — я видела это по ее гла-

зам и чувствовала в ее расспросах: какое на рассвете небо, какие птицы просыпаются первыми, как белки прыгают, какие растения дольше цветут? Все это она знала по книгам, но живое слово сына давало ей более наглядную картину.

С весны до осени, в хорошую погоду, она уводила нас, младших детей, в поля и леса, и невольно, среди моря ржи или в лесных кустах, мы искали глазами Виктора. Он мерещился нам то у разведенного в поле костра, то купающимся в быстрой реке, то ловящим рыбу или сидящкм, как птица, на дереве. А мы сами плели венки из васильков и маков, босыми ногами уминали траву, жадно собирали в корзинки черные ягоды и землянику, а осенью — съедобные и ядовитые грибы всех сортов.

У скрещения дорог мы становились на колени перед придорожным крестом и молились, а то пели религиозные и патриотические песни и, к концу дня, усталые и голодные, пили у железнодорожников парное молоко и ели черный, испеченный на листьях, хлеб.

Железнодорожные домики были построены все по одному образцу и меблированы одинаково: над комодом висели портреты царя Николая II и царской семьи, в углу стояла на полочке икона и под ней теплилась красная, синяя или зеленая лампадка. Тикали украшенные тяжелыми гирями часы. Деревянная кровать (с выдвижным ящиком) стояла тут же у стены, покрытая белым вязаным одеялом с горой подушек чуть не до потолка, об-

становку дополняли небольшой столик, два-три стула и простой, грубо выкрашеный шкаф.

В кухне висела целая батарея медных кастрюль, на кухонном шкафчике сверкал самовар, в корзинке рядом лежал, прикрытый вышитым полотенцем, черный, внушительных размеров, хлеб.

Мимо домика, время от времени, проносились поезда, и тогда сторож или его жена стояли перед калиткой с цветным флагом в руке, — эта должность казалась мне исключительно завидной.

Вокруг домика, в маленьком садике росли мальвы, шиповники, подсолнухи, на грядках зеленела резеда. Весной душно пахло черемухой, сиренью, акацией и навозом. Мычала корова, лошадка ржала, блеяла коза и хрюкали свиньи, на дворике вокруг рыжего красавца петуха кудахтали куры. И над всем этим мирком домашних тварей нехотя темнело ласковое польское небо, когда наступал вечер и надо было спешить домой в душную, городскую квартиру. Иногда настигала нас гроза в дороге и это было драматично: как сверкнет молния, мы набожно крестимся и повторяем за матерью: «Иесус, Марья, Юзефе Свенты, змилуй се над нами».

В грозу под деревьями прятаться было опасно, мы шли, держась за юбку матери, беспомощные и промокшие, поглядывая с опаской на грозные, воюющие между собой тучи. Зато как приятно было, прийдя домой, надеть все сухое, вымыть ноги, поужинать, выпить стакан горячей малиновой настойки и затем, раздевшись, юркнуть в мягкую

постель. Только Виктор добровольно лишал себя этого комфорта. Как звереныш, он мок под дождем и сох, как звереныш, но никогда — ни малейшего насморка!

## II

Жили мы в большой квартире, но не было у нас ни гостиной, ни столовой — одни спальни. Всюду кровати, а если не кровати, то кушетки, на которых и спали.

За общим столом собирались мы только раз в год — в сочельник. Тут даже Виктор появлялся между нами, однако держался подальше от отца и Ары. За стол, вместе с нами, садилась и прислуга.

Тот, кто привык к семейному уюту — не поймет моей радости, ни гордости моей, что вот «наконец-то и мы — как все остальные люди».

Мы собирались у отца в бюро; там посреди комнаты стоял огромный дубовый стол, только силач мог бы сдвинуть его с места. Отец любил тяжелые, неподвижные предметы, ненавидел легкую и мягкую мебель.

На светлом фоне обоев — грозным великаном выделялся шкаф, — отец хранил в нем документы своих клиентов, юридические книги, гербовую бумагу и ноты любимых композиторов. Там же на полке лежала скрипка, смычок и жестяная коробка с канифолью. Один угол в комнате был отделен плотной шерстяной материей — за ней, на специ-

ально заказанной громоздкой и некрасивой кровати, высилась гора подушек: отец мой подобно мумиям древних перуанцев, спал почти сидя. Дубовые стулья, с высокими спинками дополняли обстановку, а старинные часы с гирями каждые четверть часа напоминали о том, что жизнь уходит. В оконной амбразуре висела клетка с чижиком, никогда не певшим, а только жалобно попискивавшим. Каждую весну, мать такого чижика выпускала на свободу, после чего отец немедленно приобретал нового.

Но что творилось на подоконниках! Они были, как вообще в польских домах, широкими и сплошь заставляли их цветы в горшках и огромные бутыли с земляникой, черникой и вишнями. Иногда, на крючке от форточки, в тонком полотняном мешке подсушивался творог — когда он превращался в сыр, отец резал его на ломти и, стоя на корточках перед кафельной печкой, подрумянивал на вилке каждый ломоть над огнем. После этого лакомства он молчаливо болел желудком и принимал соду. Вообще же с молодых лет отец соблюдал очень строгую диету, чем отчасти и объяснялся беспорядок в нашем доме и отсутствие семейной спайки: чтобы не съесть лишнего — отец ел отдельно, а старшие дети в течение всего дня хватали между делом все, что им попадалась под руку, и тащили к себе в свои спальни, — матери удавалось сбить в одну кучу только самых младших, да и то, я отлично помню, как ни с того ни с сего, я облюбова-

ла место на кухне, где и ела кашу или суп деревянной ложкой из глиняного горшка.

Но кухонные фантазии мои проходили быстро, и после глиняного горшка я мечтала о белых скатертях с салфетками, свернутыми в трубочку, о суповых мисках, из которых «валит пар» а главное, о почетном месте для моей матери (которую я обожала) за большим уютным столом.

Но вернемся к сочельнику.

Это я своими детскими руками разбрасывала на отцовском столе пахучее сено, и торжественно, с помощью матери развернув огромную, накрахмаленную скатерть, подравнивала ее углы, затем вдевала в серебряные кольца салфетки, ставила солонки, стаканы. Мать украшала стол цветами, зажигала в высоких подсвечниках свечи, расставляла тарелки, но последнее и самое важное доверялось опять-таки мне: положить на стол традиционный польский «оплатэк».

Его перед Рождеством разносили по польским домам «закрыстьяне», а иногда и «органисты». Входил вдруг некий господин во всем черном, а малыши успевшие забыть прошлогодний сочельник, смотрели на него подозрительно — «Кто такой? И почему у него такой похоронный вид? Уж не внесут ли за ним страшный гроб?»

Господин разворачивал белую салфетку. А, это другое дело! Детские глаза сразу становились доверчивыми и дружелюбными. В связи с «оплатком» вспоминалась елка, подарки и целая куча приятных вещей. Малыши придвигались к траур-

ному господину, кто-нибудь рисковал задать вопрос:

«У вас только белые оплатки? нет розовых? нет голубых?»

«Как же нет — есть»

Худая рука разворачивала другой пакет...

«Мама! купи! вот этот! и этот! Я хочу ослика! Я хочу звезду! Нет — ясли!»

Черный господин, вроде Деда-Мороза, становится приятным гостем. Дети ему заказывали: «На следующий год не забудьте тоже прийти. Придете — да?» «А почему вы в черном? Вы может быть немецкий ксендз?»

Принесший оплатки, словно китаец, движется спиной к выходной двери. Он не смеет сразу повернуться к детям спиной, чтобы не обидеть своих маленьких покупателей, но до чего боится он попасть впросак, не зная как ответить на десятки самых неожиданных вопросов...

Накрыв на стол, мы уходили одеваться. Опять и опять отмываем с рук грешную земную грязь. Как хирурги или как ксендзы. Разве мы не приобщались в этот вечер к величайшей Тайне, изображенной на наших польских облатках? Разве мы не должны быть чистыми как дети, которых так любил Христос? и — покорными как животные, согревающие своим дыханьем холодные ясли?

Во всех наших спальнях лилась из фаянсовых кувшинов в тяжелые тазы вода, на стенах скупым пламенем горели керосиновые «кинкэты».

Для Виктора нагревали целый бак воды, дважды наполнив ею ванну. Старший брат Янек самоотверженно тер ему спину и счищал метелкой, приставшую к белым стенкам ванны темную, мыльную пену.

— Однако ты, брат, того... — говорил он с удивлением. — Ну, вылезай и посиди на табуретке, я переменю воду.

Большой, розовый мальчик конфузливо вылезал из ванны приговаривая:

— Ты на меня не смотри, не смотри же.

Сев на табуретку, он крепко сжимал колени и закрывал руками низ живота.

Мать кричала в щелку:

— Торопитесь! я уж и простыню нагрела.

На спину вымытого сына, глядя и не глядя на него, накидывала она теплую простыню, согретую на изразцах высокой печки. Перекинув угол простыни через плечо Виктора, спрашивала Янка:

— Ты не находишь, что он на римлянина похож?

— Нет, у него круглое лицо.

— Не круглое, а слегка квадратное, как у древних римлян.

— Может быть. Я там не был, — соглашался Янек, отмывая свои руки.

Виктор шествовал за матерью через спальни сестер, и те с удивлением рассматривали младшего брата.

— Он недурен, — замечала Марыля.

— Похож на гладиатора, — задумчиво шептала художница Ара.

Мы, младшие дети, замыкали шествие.

Покровительственно улыбаясь, Виктор каждого из нас гладил по голове, сдвигая нам банты набок и ероша волосы.

Нам так хотелось присутствовать при его «облачении», но ловким прыжком он скрывался за дверью и щелкал задвижкой, а выходил он оттуда самым обыкновенным мальчиком, да еще нестерпимо пахнущим бензином и сапожной мазью... Затыкая носы, мы разбегались в разные стороны.

Отец, в отличие от Виктора, пах нафталином. На нем был двадцать лет тому назад заказанный, но словно только что сшитый, темно-серый английский костюм. Как ни трудно было дышать рядом с отцом, мы не разбегались, а с почтением шли за ним в его рабочий кабинет, где уж стоял накрытый к ужину стол.

В открытую форточку врывался мороз, но белая изразцовая печь излучала тепло и на стеклах внутренних оконных рам таяли причудливые узоры. Между стеклами, на ватной подстилке, стояли красные и синие бокальчики. Двойная форточка открывалась и закрывалась при помощи шнурков, но не понимаю, как они были пристроены, чтобы не рваться и не путаться в долгие зимние месяцы. Особыми приспособлениями была заменена впоследствии эта примитивная система. Впрочем в польских домах редко вставляют теперь вторую раму. Все переменилось с тех пор, и климат стал

мягче; вместо снега, часто моросит под Рождество унылый дождик.

Мы собирались из года в год в этой большой комнате, освещенной восковыми или стеариновыми свечами. Все молчали или переговаривались шёпотом, словно в костеле во время службы. Белёсые ресницы рябой служанки казались колючими стеблями скошенной ржи. Ее звали Ледка, рябая Ледка. Так за ней по пятам всю жизнь прошла эта жестокая кличка. Только в нашем доме ее звали Леокадией и потому она привязалась к нашей семье, проводя с нами большие праздники, хотя всем сердцем рвалась к себе, в деревню.

Она была красавицей до восемнадцати лет, все парни добивались ее руки...

В Польше часто в те времена вспыхивали эпидемии: весной — корь, скарлатина, дифтерит, брюшной тиф и страшная уродующая оспа, летом — холера и дизентерия, да еще в большую жару многие собаки заболевали бешенством и кусали людей.

Красавица Леокадия заболела оспой и сразу все кавалеры отхлынули от нее и крестьяне стали звать ее рябой Ледкой. Тогда она ушла в город, сменив два-три места, очутилась у нас. Ну и осталась. Принимая ее, мать сказала детям:

— Старайтесь как можно меньше замечать ее несчастное лицо. И, Боже упаси! не произносите при ней слово «рябая».

Сестры вскинули на мать свои молодые, безза-

ботные глаза: нежные, розовые щеки Ары и смуглые Марыли заиграли веселыми ямочками.

— Беда, когда мать святая. Того не говори, на то не смотри! Только избавились от придурковатой Марианны, как уже новый урод в доме и ты новые невыполнимые условия ставишь.

Но условия были выполнены, и мы все привыкли к симпатичной девушке с изуродованным лицом. Мать нас научила смотреть на ее прекрасные зубы — когда она смеялась, и на расплавленное золото ее волос, «Рябой», «рябая» вышло у нас из обихода до той минуты как и в наш дом заглянула оспа . . . Но об этом после . . .

С появлением первой звезды мы брали со стола «оплатки» и, подходя друг к другу, делились ими. Слово Польша было на всех устах: мы желали нашим родителям дожить до ее возрождения.

Виктор с трепетом подходил к отцу, целовал ему руку и скороговоркой бормотал пожелания к празднику.

Отец неловко касался губами лба сына и отвечал что-то такое, чего никто не понимал. В худой стареющей руке, заметно для всех, дрожал белоснежный «оплатэк».

Я ждала чуда, что вот отец и сын упадут друг другу в объятия и начнут хорошую, новую жизнь. Как зачарованная я подвигалась к ним, хотела им помочь сговориться, но, не находя слов, отходила . . .

С Арой было еще хуже: подойдя к старшей сестре, Виктор смотрел в одну сторону, а она в дру-

гую. Одинакового роста, голубоглазые и светловолосые — они казались близнецами, но сестра не могла простить брату, что, убегая из дому, он ставит в неловкое положение всю семью и «чего доброго еще проворуется и в тюрьму попадет».

Отец в сочельник ел и пил все: и взвар из сушеных слив и груш, и борщ с грибными ушками, и щуку, и рисовые котлеты, и грибной соус, солянку, оладьи с яблоками. Все было постное, но до чего вкусное!

После ужина зажигали елку, садились в кружок и пели «коленды» или шли в костел на «пастерке». В костеле была давка, прихожане обменивались далеко не приветливыми словами, поэтому, когда мы с матерью шли туда, отец язвил: «Идете ругаться? Ну идите, идите, а я здесь помолюсь».

## III

Как не все цветы сочетаются в букет, так и члены моей семьи не все подходили друг к другу. Трудно, например, было бы себе представить моих родителей, идущих рядом по улице: мать с ее легкой, словно летающей походкой, отца — ступающего медленно, лениво и в то же время очень уверенно. В кинематографе на снимках с натуры, я подметила эти движения у тигров — не тогда когда они крадутся за добычей, а когда насытившись от нее отходят . . .

В моем отце было нечто от этого хищного, гор-

дого зверя: круглые, желтовато-серые глаза, немигающие и пронизывающие, круглая голова, как иглы торчащие седые усы, мягкие, неслышные движения рук и ног, стройность худощавого, но сильного тела . . .

Чистокровный поляк — он родился и вырос в Литве, всю свою молодость провел с ружьем в литовских лесах, высматривая добычу. Но охотился он не на мелочь, ему нужен был противник сильный: кабан, медведь, хищная птица . . . Он любил бороться на смерть с раненым разъяренным животным, быть на волосок от гибели и . . . победить!

Этот человек был способен на большую жестокость и на большой подвиг и, уж во всяком случае, не был создан, чтобы гулять под руку с женой или катить перед собой детскую колясочку.

Матери моей, наоборот, очень шло быть окруженной малышами. Слегка сутулая, с большими серыми глазами, она кудахтала, суетилась, того схватит за руку, другого за воротник, третьему даст шлепанца, четвертого, упавшего и ревущего, возьмет на руки, прижмет к груди, осушит ему поцелуями слезы.

Она была очень мужественна, но улицу перейти не умела. Бывало долго стоит-стоит, осматривается направо-налево, считает нас, выстраивает и, выбрав самый неудобный момент, мчится с таким выражением лица, словно за ней гонится бешеная собака. Очутившись на другой стороне улицы и чудом не попав под копыта лошадей, она опять считала нас и тогда лицо ее озарялось тор-

жествующей улыбкой, словно она одержала большую победу. При ее живости, при ее устремленности это и была, конечно, победа — ей нужно было летать, а не ходить по земле...

Сведения ее об окружающем мире были универсальны. Если б она остановилась на чем-нибудь одном, то несомненно заняла бы почетное место среди людей науки. Несмотря на это, она была в высшей степени скромной и бескорыстной. Она хотела знать все, ибо, как она говорила, — «одно цепляется за другое и нельзя изучить медицину, не изучив астрономию, астрологию, оккультизм, спиритизм и так далее». Но ознакомившись со всем этим она решила что этого мало и стала изучать жизнь растений, животных и минералы. А затем обратилась к философии и психологии, все это за какие-нибудь десять лет. К моему появлению на свет, это была уже всесторонне образованная женщина, сделавшая ценные открытия в медицине. Но ее не интересовал диплом врача, она не согласилась бы лечить «ядами» и считала невозможным брать за «совет» деньги.

«Священник, учитель, врач, адвокат, литератор — это, действительно слуги человечества, а тот, кто хочет зарабатывать деньги — пусть шьет сапоги или откроет лавочку».

«Хороша ты была бы с детьми и своей бесплатной клиентурой, если б я отказался от гонораров», — возражал ей отец — он был адвокатом.

Мать из деликатности не напоминала ему, что когда он болел, она нас, всю семью, содержала

своей иглой. Шила она прекрасно, и для мужчин, и для женщин, с одинаковой легкостью и быстротой.

Мать никогда не брала денег за медицинскую помощь, да и лечила бедняков. Сначала только астматиков, на которых было страшно смотреть, так они синели от приступов кашля.

Она тоже долго болела астмой (сама себя вылечила), поэтому относилась с глубоким состраданием к болевшим этой болезнью, дарила им бутылку чудесной настойки, объясняя как ее принимать и назначала через месяц прийти снова.

Сгорбленные, но обнадеженные, больные спускались по ступенькам крыльца, а мать шептала: «Боже помоги вылечить этого человека». Через месяц или два больной выздоравливал и приводил с собой другого, а тот третьего . . .

Мать, можно сказать, шагала от изобретения к изобретению. Гуляя с нами по лесам, лугам и полям, она беспрерывно искала, то на деревьях, то внизу, в траве, в песке, какой-нибудь, скромный на вид, листик, стебелек, корень, содержащий целебную силу. Бело цветущей крапивы мы нарвали так много, что могли спокойно ждать целый год, когда она зацветет снова. Ее злые, колючие листья мы сушили, потом мелко рубили, всыпали в бутылки и заливали спиртом. По истечении какого-то, мною забытого срока, изумрудный напиток был готов к борьбе с мучительной, считавшейся неизлечимой болезнью.

Тогда мы начали запасаться круглыми листья-

ми подорожника. Мать открыла, что заваренный, как чай, он был хорошим средством против катарального состояния бронхов. И еще мы искали и находили травку, от которой уменьшались и пропадали ревматические опухоли. Одна горстка такой травки, брошенная в ножную ванну, делала чудеса. Мать вылечила девочку еврейку от суставного ревматизма (в очень запущенной форме) предписав ей десять ванн. Я никогда не забуду, как (по приказу своей матери) вылечившаяся девочка упала перед моей матерью на колени и поцеловала носок ее туфли.

В этой Хайке (так звали девочку) мы приняли большое участие, но о ней я напишу немного дальше.

В нашем городе было много евреев, и все это была беднота. Узнав, что «пани адвокатова» лечит бесплатно, они целыми семействами приходили к нам, и мать их лечила наравне с поляками. Когда она шла по городу, евреи зазывали ее в свои жалкие лачуги и, рискуя принести домой заразу, она рассматривала их гноящиеся глаза и уши, и потом долго ночью что-то вычитывала в своих книгах.

Она нашла средство от синюзита, которым я в настоящее время страдаю. Но не могу вспомнить, какие нужно листья, с какого дерева и сорванные в какое время года. Давно нет в живых моей матери, и не оставила она никаких записей. Вот и бродим мы, оставшиеся в живых, по врачам и аптекам без надежды на выздоровление, в то время, когда на польской земле, да и всюду вероятно, рас-

тет столько чудодейственных растений, которых не замечает официальная медицина.

Там, в польских песках мы нашли корень голый и очень некрасивый, носящий (кажется) название «живокост», от которого заживали каверны в легких и вообще восстанавливались поврежденные ткани. Я знала студента в последней стадии туберкулеза, которому, при помощи этого корня, мать спасла жизнь и вернула здоровье. Конечно, при этом она кормила его, как рождественского гуся, и отец, вынимая из кошелька рубли, только вздыхал, — нелегко было ему заработать на всех бесплатных столовников матери.

И еще запомнилась мне одна страшная история. Мать наколола себе правую ступню и сунула босую ногу в калошу, забыв смазать ранку иодом. Кто не помнит калош Треугольника? В них было такое красивое красное сукно. От соприкосновения с сукном ранка воспалилась, нога покраснела, потом посинела, вспухла. Спешно вызвали хирурга. Осмотрев ступню он покачал головой. «Вы женщина храбрая, поэтому к чему предисловия? У вас заражение крови и не позже завтрашнего утра придется ногу ампутировать».

Я стояла тут же. Слова «ампутировать» я не понимала и оно мне показалось очень красивым и звучным, но взглянув на испуганные лица взрослых, я догадалась о зловещем значении этого слова.

— О нет! — закричала я жалобно. — Не соглашайся мама! Как ты будешь ходить без ноги с на-

ми на прогулку, как будешь собирать травки на лекарства?

— И в самом деле! — улыбнулась моя мать. — Как буду я жить без ноги? Кто меня заменит в хозяйстве?

Хирург растерянно пробормотал:

— Но ведь . . . но ведь . . .

— Понимаю, что вы хотите сказать. Но утро вечера мудренее. Завтра, если я ничего не придумаю, чтоб спасти свою ногу — режьте ее. Бог с ней, только зачем до колена?

И вступила с хирургом в спор, выторговывая каждый сантиметр.

— Уверяю вас, что до половины икры если отрежете — дело будет ликвидировано, — сказала она, пожимая хирургу руку.

Когда он ушел, она посмотрела на нас всех с торжеством:

— С ними надо торговаться, он бы еще до самого основания отрезал — этакий мясник!

Отец ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Он за день сгорбился и его колючие усы шевелились, что означало сильное волнение. И не было уж в нем ничего от гордого тигра — теперь это был маленький, несчастный, пожилой человек, на которого неожиданно свалилось горе.

Мать подозвала его к себе. Ее большие лучистые глаза смотрели с жалостью на мужа, точно это не ей, а ему должны были отрезать ногу.

— Отец . . . этот случай со ступней все же не маловажное событие . . . Не правда ли? Скажи мне

честно — тебе ничего не снилось такого . . . ну, одним словом, тебе не было предупреждения относительно моей ноги?

Отец отрицательно покачал головой.

— Ну значит нечего бояться! — сказала мать весело. — Слышите, дети? Отцу ничего не снилось!

Все приободрились, кроме отца. Он, действительно обладал даром ясновидения и все события, как мирового, так и частного характера видел заранее во сне. Но опасности, угрожающей своей жене, он не видел может быть потому, что всю ночь играл в карты, а ведь как раз в эту ночь могло ему быть предупреждение.

Он был страстным игроком и вот уже мелькнула мысль, что если дать Богу обет . . . то несчастье пройдет мимо. Мысль была неясная, но уже, бессознательно, он испугался ее, стал отгонять как назойливую муху и в этой борьбе опять стал похожим на тигра. Ему удалось отогнать мысль, требующую от него жертву и он вышел из комнаты своей жены с гордым вызовом судьбе: «Ничего не случится, я напрасно раскис!»

И не случилось. Мы все не спали. Я сидела рядом с матерью в кровати и рассматривала картинки. Перед ней была медицинская книга. Она внимательно изучала в разрезе рисунок ноги, читала текст. Потом углублялась в другие книги и сама с собой говорила: «Экие дурацкие учебники, Боже мой! Марыля, дай мне книгу ксендза Кнайпа».

Сестра вскочила, стала искать на полках.

— Ее здесь нет!

— Поищи, у меня явилась идея. Там описан такой случай, как мой.

— Книга ксендза Кнайпа? это, где такие миленькие рисунки? Дети бегают босиком... девочка гонит гусей? — спросила я мать.

—Вот-вот именно.

— Она у меня. В моем сундучке.

— Зачем ты трогаешь мои книги? — упрекала меня мать. — Да еще прячешь в свой сундук!

— Я хотела вырезать эту девочку с гусями, — созналась я сконфуженно.

Марыля на меня накинулась:

— Тебе мало, что ты испортила фотографию бабушки? ты уже добираешься до научных книг!

— Какая она научная? — пожала я с презрением плечами. — Разве ученые рисуют гусей? А бабушку я испортила в раннем детстве, я была тогда «бессознательной».

— Не спорь, давай мне эту книгу, — торопила меня мать.

Она опять углубилась в чтение.

— То, да не то! — сказала, откидываясь на подушки. — Заговаривается старичок!

Откинув одеяло, она посмотрела на ногу — очень вспухшую, сине-красную. Стала щупать свой пульс, потрогала лоб. Ее глаза были задумчиво тревожны.

— А что, если сделать ванну?.. Очень горячую... прибавить туда сена... и немного соли (к сожалению названия сена и соли я забыла)... Се-

но унесет отек... соль вызовет прилив крови...

Она опять порылась в какой-то книжке.

— Марыля! приготовь мне ножную ванну дай мне тот мешок, что лежит на самой верхней полке. Смотри, не упади!

Отец опять вошел в комнату матери.

— Ну что? как нога?

Его глаза были смиренны. Он был близок, очень близок к тому, чтобы дать, трудный для него, обет...

В кухне раздували самовар. Вода очень быстро закипела.

Прыгая на одной ноге, поддерживаемая Янком и отцом, мать села на стул и погрузила в ванну ногу.

— Не обожгись! — говорили ей все по очереди.

— Ничего, ожог менее страшен, чем ампутация. Зачем вам мать калека?

В эту страшную ночь мы все объединились, одного Виктора не было между нами.

Младший мой брат, Фелюсь, тихонько гладил руку матери и шептал: «Ты моя птичка, моя рыбка золотая, моя звездочка с неба». Большая голова рахитичного ребенка покачивалась в такт его ласкающим словам.

Янек поднял мать на руки, как перышко. Давно ли она сама носила его, а вот теперь он ее держит, как ребенка. Марыля взбивала подушки, Ара сразу накинула на ногу матери согретое, сухое полотенце.

Все хотели посмотреть ногу, но мать сказала: «Потом, пусть немного остынет».

Мы ждали. Я и Фелюсь уселись на пол, обхватив руками колени и вздрагивали от холода. Никто не заметил, что мы были в одних рубашках и могли простудиться.

Тут я заметила коврик, подумала, что на нем сидеть будет теплее и села на него, уступив половину места брату.

Он благодарно посмотрел на меня своими карими глазами и сказал:

— Это ты хорошо придумала, у меня уже совсем застыла попка.

Когда мы нагнулись над ногой матери, то увидели, что она была очень красная, но, как будто, меньше опухшая. Мать стала ее ощупывать, придавливать пальцами:

— Кажется — помогло, во всяком случае не хуже, а лучше.

Расставаться с матерью я не хотела и потому с Фелюсем перетащила наши тюфяки, подушки и одеяла, и мы, как верные псы, расположились на полу, рядом с ее кроватью.

Когда я проснулась уже светало.

Оказалось, что Ара, Янек и Марыля тоже перетащили свои постели в комнату матери и сладко спят.

В воздухе чирикали птицы, на мостовой грохотали тяжелые подводы, евреи развозили в бочках питьевую воду — город просыпался.

Я взглянула на мать: она тоже спала. Отец мой,

стоя у окна, с кем-то разговаривал. Я прислушалась:

— Войди, не бойся. Твоя мать в большой опасности и потому мне не до тебя.

Я выглянула в окно.

Босой, оборванный, страшно худой, с всклокоченными волосами — стоял мой братец Виктор.

Я влезла на подоконник.

— Ты знаешь, Виктор, что мама очень больна? Доктор хочет ей ногу отрезать.

— Сам знаю, видел во сне, потому и пришел.

— Значит ей ногу отрежут?

— Нет! *Должны* были резать и потом доктор исчез, и мама взяла ванну.

— Откуда ты знаешь, что мама взяла ванну?

— Я же тебе говорю, что во сне видел.

— Ну а дальше?

— Дальше — ничего. Я проснулся. Очень испугался и стал бежать домой. Бежал всю ночь. Надо мной летали звезды.

— Метеоры, — сказала я с ученым видом.

Брат пожал плечами.

— Не буду спорить. Впусти меня в кухню и дай поесть.

— Лезь в окно.

— В окно? А что скажет отец?

— Он не увидит, он ушел в свой кабинет. Тебе нечего бояться. Лезь!

Виктор, как кошка, прыгнул через окно в комнату.

— Что это значит? почему все спят на полу?

— Мы дежурим около мамы.

Он приблизился к спящей матери. Смотрел. По его загорелым щекам потекли слезы.

Я спросила его тихонько:

— Почему плачешь?

— Я не плачу, — он вытер рукавом мокрые щеки.

— Ты опять убежишь?

Виктор опустил голову.

— Нет. Конец. Я дал клятву. Ты ведь знаешь, я люблю лес, поле, луга, ненавижу книги и боюсь отца, но чтобы мама жила — я дал клятву.

Наш отец все слышал. Мы не заметили, что он вошел в спальню матери и наблюдал за нами. Он быстро прошел мимо испуганного Виктора в свою комнату.

— Тебе нечего бояться, — начала я неуверенно и вдруг закричала, полна ужаса: — Виктор!.. ты куда? Ты дал клятву! Виктор!

Выпрыгнув из окна, брат мой мчался без оглядки. Ему должно быть показалось, что отец пошел за своим хлыстом.

Вся семья сразу проснулась.

Мать спрашивала: «что такое?»

— Виктор пришел и опять убежал!

Отец приказал Янку:

— Беги за ним. Приведи его силой.

Янек нехотя одевался.

— Торопись!

Мать просила отца:

— Ради Бога не бей его, ради Бога не бей!

— Да нет же... Я ему обещал... Он не поверил.

Мы раскудахтались о Викторе и забыли о ноге матери.

Она тоже забыла.

Накинув на себя халат, она, слегка прихрамывая, подошла к окну, выглянула на улицу. Ее зоркие глаза увидели сына. Она стала делать ему условные знаки.

Мальчик недоверчиво приближался. Подойдя к окну он смотрел на мать радостными глазами.

— Ты, значит, жива? Я бежал всю ночь, чтобы...

— Чтобы?..

Виктор опустил голову. Она притянула эту голову к себе, подняла его лицо, посмотрела ему в глаза.

— Ты больше не убежишь?

— Нет, мама. Я дал клятву.

— Ты дал клятву! — радостно вскричала мать. — Значит это не ванна, а твоя молитва спасла мою ногу.

Виктор сконфузился, потому что вся семья уставилась на него с недоверием, а мать повторяла, рассматривая свою ступню:

— От одной ванны не могло бы пройти, значит это на самом деле чудо...

— Отек еще держится и нога красная, — заметила Ара.

— Надо продолжать делать ванны, — добавила Марыля.

— Мама, тебе нужно лежать, — взмолился Янек.

— Да, да, я сейчас лягу, пусть только Виктор войдет ... Это ужас, как он исхудал ... Дайте ему скорее поесть ...

Мать лежала в постели три дня.

С каждой ванной ей становилось все лучше и лучше, и она уже мечтала как будет спасать людей ...

Первый ее выход был в костел. Она заказала благодарственный молебен, подвесила под иконой Ченстоховской Богородицы серебряную ногу (wotum), исповедалась и причастилась.

Чтоб отпраздновать ее выздоровление вся наша семья собралась за общим столом. Лицо матери светилось тихим счастьем ... Мы все молчали, а казалось будто говорим о чем-то радостном и важном ...

В открытое окно врывался теплый ветер. Шевелил кружевные занавески и долетая до середины стола, шаловливо ласкал лепестки роз в букете ... Солнце играло на граненых хрустальных стаканчиках, превращало в рубин красное вино и в янтарь белое, пригревало фарфоровые с синим ободком тарелки, наводило блеск на старинное серебро, и вдруг пряталось лукаво за набежавшим облаком.

Был сентябрь, на дворе стояло бабье лето. В воздухе плыла, цепляясь за прохожих, белая паутина ... Бесшумно отделялись от деревьев пожелтевшие листья, ветер подхватывал их на лету и

они кружились словно бабочки. Один такой листик упал к нам на подоконник — я засушила его в память чудесного выздоровления моей матери.

## IV

Засев дома, Виктор превратился в пленного чижика. Как чижик, перескакивая с жердочки на жердочку, попискивал жалобно, так и бедный мой брат сидел над раскрытыми книгами, обхватив голову руками, пытался углубиться, ерошил волосы, потом, откинувшись на спинку стула, зевал, широко раскидывая руки. Наука явно утомляла его, нагоняла на него сон; он с ним боролся; посвистывал, мычал, вскакивал и опять садился, лениво перелистывая страницы, подсчитывая сколько их еще осталось . . .

«Пся крев, когда же до конца дойду?»

«Никогда!» — отвечали ему непройденные страницы, и он сердито захлопывал учебник.

Но самым большим его врагом был глобус. Польшу он отметил химическим карандашом и потому находил ее легко, но что касается других стран — он их гонял по всему земному шару.

— Это поляк Коперник открыл, что земля круглая, — сказала я Виктору.

Он недоверчиво улыбнулся.

— Ну, знаешь . . . — возмутилась я, — если ты польским ученым не веришь — так значит ты — атеист!

— Что такое атеист? — — заинтересовался Виктор.

— Подожди ... я забыла ... я спрошу маму.

Мать объяснила:

— Это такой глупый человек, который не верит в Бога.

— Это такой глупый человек, который не верит в Бога и ... в польских ученых, — добавила я от себя, чтобы убедить Виктора.

Он пожал плечами. Не любил спорить.

— Дай мне твои цветные карандаши, я отмечу Испанию и Францию.

Чтоб отметить где Германия, он воткнул прямо в Берлин булавку. Я удивилась:

— Зачем?

— Это наш враг, — объяснил мне Виктор.

Тогда и я, долго целясь и щуря глаза, воткнула в Берлин булавку.

Мне показалось что за нашими спинами раздался смех. Я оглянулась — кто был свидетелем нашего преступления? Отец. Это был отец. Он уже уходил, но я успела поймать, и на всю жизнь запомнить его торжествующий взгляд.

Виктор учился все хуже и хуже, и мать говорила отцу:

— Зачем заставлять его? Умеет читать и писать, остального ему не одолеть, и не надо.

— Что, по-твоему, быть ему сапожником? — глухо ворчал отец.

— А почему бы нет? Сапожником, столяром — никакой труд не роняет человека.

Отец упрямо мотал головой.

— Вещь невозможная — что скажут люди?

— Да пусть говорят, что хотят, — убеждала мать. — Мне мой ребенок ближе, чем глупые пересуды. Глядя на него, я страдаю, так и хочется дать ему котомку в руки, открыть дверь и сказать: «Беги, бедный мой чижик, беги! Пользуйся свободой, пока ты дитя. Жизнь успеет тебя сковать и тогда уж не разорвешь цепей».

И все же, жалея отца, она пыталась дать сыну немного знаний. Янек помогал ей в этом, но роль репетитора утомляла его, и он с тоской поглядывал в окно, за которым носились стаи голубей — его голубей... Иногда в открытую форточку (отец на время урока велел закрывать окно) влетал голубь, тогда оба брата с веселыми лицами носились за ним по комнате, стараясь не слишком шуметь, чтобы отец не услышал. Он-то слышал и даже сам был бы непрочь принять участие в веселой игре (очень любил голубей), но нельзя было ронять свой авторитет в глазах жены и детей.

Когда влетал в форточку голубь, тут уж ни Янек, ни Виктор не были виноваты; они открывали окно, чтоб выгнать втирушу, и в комнату, шумя крыльями, врывались другие.

«Фру... фру...» летали птицы во всех направлениях.

Конечно, мы все сбегались, неся им лакомые крошки. Мать смеялась, когда голуби садились ей на голову, плечи и на протянутые шаловливо руки. Я и Фелюсь, а за нами маленькие сестры Юзя

и Зося, подражая голубям, ворковали и взмахивали руками, будто у нас крылья, и Ара с серьезным видом зарисовывала картину, назвав ее «Хаос». Ледка бросала кухню, забыв молоко на огне, со двора врывались гончие собаки отца, воображая себя на охоте, и пять-шесть кошек, подобранных матерью на улице и больных паршью, мрачно смотрели на птиц, не имея сил вступить в борьбу с ними, и только грозно поднимали лапы, когда птицы слишком нахально вертелись перед самым их носом. Когда голуби улетали — пол, стол и вообще все предметы были усеяны крошками и голубиным пометом. Пока Ледка прибирала, Янек рассеянно глядя в окно, говорил Виктору:

— Ну, займемся географией.

Открывая атлас и пододвигая его к испуганному брату, он, как шарманка, заводил: «Земля имеет вид шара. Высокие горы, как, например, высочайшая вершина Эверест в Гималаях, не изменяют шаровидности земли как песчинки приставшие к мячику, не изменяют его шаровидности» . . .

Не зная русского языка, я вмешивалась в урок брата:

— Что такое Эверест?

— Страна такая . . . — с ученым видом ответил Виктор.

— Не страна, а гора, — поправил Янек.

Виктор сконфузился, а я безжалостно его добивала:

— Сколько будет семью восемь?

Таблицы умножения брат мой никогда не одо-

лел, по крайней мере до поступления на военную службу, а там уж не знаю...

Зимой Виктор совсем закис. Стал похож на опаршивевшую кошку. Загар сходил с его лица, и оно порылось прыщами (возраст), а на шее образовался чирей. Мать лечила его какими-то примочками. Странно было видеть Виктора в роли больного, с завяанной шеей. Всем было ясно, что домашняя жизнь не для него и что надо снять с него зарок и выпустить его на свободу.

Мать посоветовалась с кзендзом, но тот, человек малообразованный, из простой крестьянской семьи, на нее накинулся:

— И не думайте поощрять его пороки. Пусть сидит дома и учится, тем более, что клятву дал. Нарушить данный Богу обет — это накликать на свою голову Божий гнев.

Взяв Виктора за ухо, ксендз ему внушал:

— Это ты спас ногу матери.

Виктор покорно опустил голову.

У матери был виновато-сконфуженный вид.

## V

Сразу после Рождества Марыля разбивала свою копилку и начинала считать деньги.

Я была тут как тут. Смотрю, как она раскладывает на большие и маленькие кучки рубли, полтинники и мелкие серебряные монеты; слушаю

как думает вслух: «Это на платье, это на туфли, на перчатки, на веер» . . .

Я волнуюсь: хватит ли ей?

Смуглое лицо с ямочками склоняется над листом бумаги, тонкая рука, вооруженная карандашом, подводит итоги. «Не хватит!»

Ну, еще бы: какая-то жалкая горсточка серебра, среди которой — ни одного золотого!

Марыля еще очень, очень молода, но у нее жажда жизни, как у перезрелой девы . . . Чтобы казаться старше, она понашила себе ватных подушек, подложила бока и грудь. Талию стянула в рюмочку, низ платья отпустила, распорола все поперечные складочки. Она много поет, и недурно поет, но это, конечно, не талант, так просто перешло по наследству от бабушки, очерной певицы. У нее нет серьезной цели в жизни, как у матери и Ары: наукой не интересуется, нарисовать не смогла бы самого простого кружочка, пыталась учиться музыке — не вышло. Бесталантная . . .

Но как Виктор любит свою свободу и простор, так Марыля согласна жить в клетке, лишь бы прутья клетки были золочеными . . . Платье, туфли, перчатки, веер . . . Все очень скромненькое, дешевенькое, но подруги зеленеют от зависти: «Где купила?» «Кто тебе сшил?» Купила в самой «замухристой» еврейской лавченке, сшила сама под руководством матери, а надела — вид как у принцессы! За ней ни гроша приданного, но скольким, даже нравящимся ей, она уже отказала. Выйдет

замуж за такого, чтобы сразу иметь свой выезд, лакеев, анфиладу комнат.

Я знала ее планы, она с четырнадцати лет о них говорила открыто, и хотя мать порицала «пустоту» Марыли, я относилась с сочувствием к ее «замкам на лёдзе» . . . Все, что мне дарила моя богатая крестная мать, я отдавала носить Марыле: и нитку жемчуга, и бриллиантовые сережки (мое будущее приданное) и кольцо с сапфиром . . . Она обещала все это мне вернуть, когда я вырасту и еще от себя добавить — посмотрим!

Когда Виктор засел дома и стал томиться — мое внимание к Марыле ослабело и перешло на него. Как удержать Виктора, чтобы он не нарушил клятву? Ничем его не купишь, тем более, что в моей копилке болтается всего один золотой — подарок крестной.

Платье, туфли, перчатки, веер . . .

Лицо Марыли озабоченно; она смотрит на меня, словно говорит: «Но когда же ты мне подаришь свой золотой?»

Мне жаль ее, но Виктора жаль еще больше . . . и я иду на компромисс — говорю смущенно, словно оправдываюсь:

— Если ты мне дашь четыре рубля сдачи, я тебе дам золотой.

Марыля, уже потерявшая, было, надежду получить от меня хоть что-нибудь, радостно вываливает на стол из кошелька весь свой мизерный капитал; отделяет йетыре рубля, смотрит ласково, как я постукиваю пальцами по копилке, пытаясь

выловить оттуда «свое приданное». Монета ложится поперек скважины, мы ее видим, но достать не можем. Мне жаль разбить копилку, она очень миленькая — желтая с голубыми цветочками, и я зову Виктора на помощь.

Тот мгновенно справился: засунул кончик ножа в скважину, чуть-чуть встряхнул копилку, потянул нож, и готово.

— Дело мастера боится, — сказала Марыля многозначительно.

Виктор не обратил внимания, а я сейчас же насторожилась... На что намекает Марыля? Неужели подозревает брата в чем-нибудь таком... не смею додумать до конца, смотрю на обоих с тревогой...

Марыля с довольным видом запихивает в кошелек деньги, Виктор, лениво потягиваясь, замурлыкал песенку мастеровых:

«Пане майтше, проше до рахунку,
Бо я робиць не моге...»

— Помолчи немного, — просит его мать, и он сейчас же умолкает.

Мать читает научную книгу, быть может сделает еще открытие — нельзя ей мешать. Виктор на цыпочках пробирается в свою комнату. Но его в нарушении тишины заменяет Ледка. Сначала она поет чуть слышно, потом все громче, громче...

Я вхожу в кухню с намерением предупредить ее, что мать читает, что у отца клиент, что Ара тоже серьезно занята, вхожу и все забываю...

Ледка поет прекрасным чистым контральто

прощальную песнь поляков-горцев, уходящих на заработки в чужие страны:

«Гуралю, чи ци не жаль
Отходзиць от строн ойчистых?»

Я слушаю, как зачарованная...

. . . . . . .

«Гуралю, чи ци не жаль?
Гуралю, врацай до халь!

подхватывает, вошедшая за мной, Марыля.

Теперь уже сопрано моей сестры сливается с контральто служанки... дополняя друг друга... переплетаясь... несясь прорвавшимся потоком через все комнаты в кабинет отца.

Он встает, хочет закрыть дверь и невольно прислушивается...

«В хаце зостали отцове,
Гды од них пуйдзешь в даль» —

поет Ледка.

«Цо з ними стане се кто ве?
Чи ци тых старцув не жаль?»...

присоединяется Марыля.

«Гуралю, чи ци не жаль?
Гуралю, врацай до халь!»

доканчивают Ара и Янек.

Мать моя заменяет Ледку у плиты, чтобы не подгорели котлеты; Ледка протестует знаками, не прерывая пения:

«Гураль на лясы спозера
И лзы ренкавем оцера»

. . . . . . . .

«И муви: ха, трудно кэй тшеба,
Для хлеба, пане, для хлеба!»

вливают свои голоса мои сестры и брат.

Отец бросил клиента и бродит в соседней комнате; клиент, подождав немного, двинулся вслед за ушедшим адвокатом через все наши «спальни» и стал у двери кухни...

Он молод, красив и родом оттуда, из польских «Татров», отошедших к Австро-Венгрии.

Слушая песню, он чувствует, как в его сердце тает злоба на соседа, с которым он затеял судиться...

. . . . . . . . . . . .

«Да нет уж, пане адвокате... я раздумал... не буду судиться... поляки мы»...

На второй день утром, мать послала меня к отцу.

— Попроси у отца три рубля на расходы.

Отец вынул тощий кошелек, вывернул на стол содержимое, долго шарил в карманах...

«Нет денег... вы вчера «пропели» клиента... вот это все, что у меня осталось».. и дал мне 80 копеек...

## VI

Ара упорно собирала деньги для поступления в Академию художеств, но Марыля ее соблазняла:

— Успеешь поступить в Академию, когда замуж выйдешь, а пока — не грех нам просто повеселиться?

Картины Ары, ее портреты, пейзажи, „natures mortes" (акварелью, пастелью, маслянными красками) имели заслуженный успех. Она получила свой талант по наследству от матери, но мать забросила живопись, а сестра Ара решила посвятить ей жизнь. Если бы не Марыля — она бы сидела с утра до вечера перед мольбертом, но «пустая» девушка умела убедить кого угодно и в чем угодно...

Ара сдавалась. Марыля шила платья для обеих по своему вкусу и совершенно одинаковые.

— Послушай, мне этот цвет не к лицу, мне этот фасон не нравится, — пробовала протестовать старшая сестра, но Марыля убеждала:

— Цвет тебе идет, и фасон прекрасный.

Янку было объявлено:

— Ты должен сопровождать нас, потому что родители с нами не ходят, а барышням одним ходить на балы неприлично, к тому же ты довольно шикарный тип...

Чтобы Янек не продал своего бального костюма (страсть к голубям ко всему ведет), Марыля запирала его костюм в свой шкаф.

Жалованием Янка тоже распоряжалась Мары-

ля. — Отдели часть денег на извозчиков, на буфет... не забудь, что ты наш кавалер... Ты мог бы мне и Аре «зафундовать» ложу в театре?... Не забудь нам купить цветов и конфет... Тебе должно быть приятно, что у тебя красивые сестры... Ты должен нам найти женихов — первый сорт!

— Мне «хлопа» не нужно, у меня есть искусство, — возражала Ара.

— «Хлоп» не мешает искусству...

Я не верила, что Марыля «безнадежно пуста», я часто видела, как она тихонько плачет, уткнувшись головой в подушку, словно ее обидела судьба или люди. О чем она плакала? У нее под приветливостью скрывалась натура отца, который никогда ни с кем не делился своей болью...

Однажды к нам зашел приехавший из Кракова антрепренер. По его просьбе Ара, Янек, Марыля и Ледка спели «Гураля», «Веснячи сын», «Касеньку» и другие народные песни. Потом пели соло. Марыля выбрала слишком трудное: Любовь графини».

«Збудзить се з улудных снув...
Стлумиць йенк цо в серцу вре...

Голос ее рос... рос... и не дойдя до самой высокой ноты сорвался.

Сольные номера не для вас, — сказал антрепренер. — Вы — хористка...

Скрывая досаду сестра моя улыбнулась:

— И даже не хористка. Прошу мне не льстить.

Когда же выступила Ледка мы все замерли...

Антрепренер подался вперед, впился в нее глазами.

«Боже, цось, Польске пшез так длуге веки
Отачал бэрлэм потенги и хвалы»

пела Ледка.

В голосе ее дрожала... гремела... притихала... вспыхивала вся средневековая Польша, с ее страданьями, великими подвигами, несбывшимися надеждами...

Мать моя плакала, у меня судорога сжимала горло и я уже не смотрела, не видела, как взволнованы другие...

Антрепренер пошел за Ледкой в кухню, долго ее уговаривал, чтоб не зарывала таланта, а она свое: «Да он уже зарыт... зарыт... Не смущайте меня — на сцену не пойду. Хотелось когда-то... а теперь — не могу»...

Марыля приветливо улыбалась, поздравляла Ледку с успехом и уговаривала сделаться певицей, а потом ночью плакала, тяжело переживая свою неудачу. Подушка заглушала ее рыдания, но я не спала и все слышала...

Все же у нее хватило характера продолжать петь с Ледкой и относиться к ней по-прежнему хорошо... Было ли это искренне? не знаю... У Ледки тоже хватило такта не напоминать Марыле об ее, Ледкином, успехе.

Помню, что именно после этой истории я дала Марыле носить (чтобы ее утешить) свою нитку жемчуга.

— Ты мне ее отдашь, когда я вырасту, только не потеряй!

Марыля сейчас же перед зеркалом надела ее, грациозно склоняя голову направо-налево. Глаза ее слегка покрасневшие от бессонной ночи и слез, при виде жемчуга заблестели неподдельной радостью и торжеством . . .

«Гдыбым пташкем была» запела она, раскинув, как крылья, руки, и маленькие ее ноги замелькали, чуть-чуть касаясь земли.

«Ты может быть балерина» — сказала я неуверенно, но с явным желанием внушить ей какой-нибудь талант . . .

«У нас в роду балерин не было, но, возможно . . . если б я училась» . . . сказала она задумчиво. — «Во всяком случае, никто лучше меня не бегает на коньках, никто! никто!»

И это была правда: на катке она царила, но в те времена женщины — спортсменки еще не играли особой роли . . .

## VII

Летом Ара, Янек и Марыля разъединялись. Янек ходил с отцом ловить рыбу, Ара зарисовывала окрестности города или встречных цыганок, китайцев с длинными тонкими косами, шарманщиков с обезьянками, русских мороженщиков и другие, привлекавшие ее внимание типы.

Что касается Марыли, то она весь день проводила в городском парке. Забежит домой поесть и опять туда. Ее можно было встретить в тенистой аллее с очередным безнадежно влюбленным в нее, кавалером, катающейся на лодке, играющей в крокет, взлетающей высоко-высоко на качелях...

Иногда то одна, то другая из сестер брала меня с собой. С Арой я шла степенно, молча, несла корзинку с едой и зонтик, а она — свои художественные принадлежности. Смотрели мы на облака, на летящих птиц, на порхающих бабочек, срывали цветы по дороге, любуясь игрой света на деревьях, заглядывали в норки кротов, присматривались к жизни муравьев, ловили древесных лягушек, ящериц — одним словом изучали окружающий нас мир. Потом, переполненные впечатлениями (ах! все бы зарисовать, обнять, вдохнуть в себя!), садимся: она — на складную табуретку, я — прямо на траву. Тороплюсь открыть корзинку, а то увлечется работой и не захочет есть; вынимаю вареные яйца, котлеты, охотничьи колбаски, свежие «сердэльки», куски сдобного пирога или пончики с повидлом. В бутылке вода с малиновым соком...

Ара ест с аппетитом, смотрит любовным взглядом на Божий мир...

— Смотри, Ара, вот дедушка ползет, он тебе не годится как модель?

— Нех бендзе похвалёны Уезус Христус! — го-

ворит крестьянин проходя мимо нас и снимает соломенную шляпу.

Мы отвечаем:

— На веки векув амэн! Куда вы, дедушка? сядьте, отдохните!

Ара уже заметила особые морщинки на его лице, блеск живых молодых глаз ...

— Вы — малярка?

— Малярка, дедушка. Хотите, нарисую вас?

— Да что вы? — не верит старик своим ушам, а глаза так и шарят — что там у нас в корзинке ...

Мы знаем, что польский мужик очень беден; мясо — для него редкое лакомство; питается он снятым молоком да картошкой; вимой — постный суп из капусты, горох, черный хлеб, кусок сала. Но мужик горд. Предлагаем старику — не берет, надо его упросить, найти подходящие слова — не нищий он, чтобы брать у чужих!

Я разрезаю пополам свой «сардэлек». Дух захватило у старика, но отводит глаза ... Я сую ему в морщинистую руку кусок белого хлеба и держу за хвостик душистую половинку «сердэлька», качаю ее из стороны в сторону как звонок. Старик смеется и, наконец, берет. Ара отдает ему часть своего пирога.

— Не едал такого ... польский «хлоп» бедный ... темный ... Нет у нас школ ...

Ара копается в шкатулке, а старик тянет свое:

— Нет «воли» ... Внука забрали на три года в солдаты ... Сын вернулся с японской войны без

руки... какой он работник теперь... Старуха моя хворая...

— Чем она больна? — спрашиваю я.

— Кашляет... астма...

— Дедушка, приведите ее к нам — мама наша лечит больных астмой.

— Посоветуйтесь с моим отцом: мне кажется, что вашего внука неправильно забрали в солдаты, — обращается к нему Ара.

— Неправильно! — опять вмешиваюсь я. — Надо апелляцию царю...

Старик смотрит на меня с почтением и я, преисполненная важности, выгребаю из своей детской памяти:

— Единственного сына нельзя, значит и внука тоже... Если родители старики... никак нельзя... Надо апелляцию царю... на гербовой бумаге... или может быть, жалобу... кассацию... нет, кассация — это если недовольны судом... Придите к нам, отец берет с бедных людей мало, а мама ничего не берет и еще дает лекарство.

Суем ошеломленному мужику наш адрес, а я еще поясняю:

— Мы живем около русской казармы; недалеко от нас есть турецкая кондитерская и потом немецкая колбасная и потом еврейская лавка с материялами и потом...

Ара меня уводит, а я все оглядываюсь на старика, машу ему рукой и говорю:

— Не потеряйте нашего адреса! Есть и другие адвокаты, но те плохие и берут дорого...

## VIII

Чтобы идти с Марылей в ее городской парк, надо надеть все самое лучшее, очень чисто вымыть руки и почистить ногти. Косы мои ей не нравятся — она мне завивает щипцами локоны, подбирает к цвету моих глаз платье и шляпку. Надеваю белые нитяные перчатки, белые носки и белые парусиновые туфли.

Сама она одета — прямо загляденье!

По улице идем «элегантным» шагом. Марыля следит, чтобы я носки откидывала в стороны и не размахивала руками.

Сама она словно плывет — шагов не слышно, в одной руке сумочка, другой поддерживает на плече красивый цветной зонтик (от солнца). Идем по главной улице, мимо хороших домов и магазинов. Тротуары чистые, то тут, то там — русский городовой. На балконах и в окнах цветы, много цветов! В витринах красиво разложен товар. На перекрестках улиц киоски с минеральной водой. Марыля меня угощает. Я пью содовую воду с малиновым соком, а она с лимонным, но это считается «нешикарным», потому Марыля заслоняется зонтиком, а мне велит стать спиной к публике (чтобы нас не узнали).

Утолив жажду идем дальше.

«Будь у меня деньги, я бы тебя угостила мороженым; сели бы мы на веранде кондитерской . . .»

Обе вздыхаем, так как денег нет. Из колбасной пахнет горячими «сердэльками», и вот уж девуш-

ка в белом ожерельями развешивает их в окне на крючках.

Я глубоко вдыхаю дразнящий запах, а Марыля опять:

— Я знаю, что ты любишь «сердэльки», но ты уже обедала . . .

— Это ничего не значит, — протестую я, но Марыля делает вид, что не слышит.

Дальше, из одной кондитерской бьет нам в лицо жаркий запах пончиков . . . Я останавливаюсь перед витриной, но Марыля меня увлекает: «Стоять перед витриной неприлично, если не имеешь намерения войти внутрь».

И так идем и идем, мимо соблазнительных магазинов, мимо цветочных киосков, откуда (смотря по сезону) несутся запахи фиалок, сирени, гвоздики, роз . . . Идем под каштанами, потом под липами, под тополями; видим сотни людей: поляков, русских, китайцев, турок, цыган, евреев . . . Мимо нас по мостовой мчатся коляски, ландо, кареты, брички, пронесется всадник, пройдет воинская, конная или пешая, часть; мелькнут полосатые будки, перед будкой — русский часовой со штыком, то тут, то там свешивается трехцветный русский флаг; пройдет конка, в ней много незнакомых друг другу людей, молча глядят по сторонам; быстрым шагом, с ведром на голове, в цветной рубахе, пройдет мороженщик — «Сахар-ное моро-женое!» Выбегают дети с блюдцами и стаканами, окружают парня . . .

Проходим по еврейскому району. Бедность и,

как всегда с бедностью — грязь, запах лука, чеснока, селедки, керосина. Лавчонки темные, стекла засиженные мухами, толкутся в них люди, слышится польская и еврейская речь. Покупатель делает вид, что уходит, купец насильно втягивает его в лавку: «Берите уж . . . только для вас . . .» В окнах домов, на протянутых веревках сушится жалкое недомытое белье . . . Из окна углового дома вырывается на улицу чад — кто-то жарит на подсолнечном масле рыбу. Плачет ребенок «мамэле, мамэле . . .» А мать ему: «Ша!» Веснусчатые девушки с густыми рыжими волосами высунувшись из окна рассматривают с любопытством прохожих. Замужние еврейки в сдвинутых на затылок париках перекликаются через улицу . . . Евреи в ермолках, в долгополых черных одеждах, пейсатые, бородатые, с озабоченным видом шепчутся о своих делах. На улице среди отбросов зелени, среди подозрительных луж ползают золотушные дети, жуют «мацу». Девочки с косичками, сидя важно на каменных ступеньках лавок, играют в «цыгэле». Вот группа мальчишек: сбились в кучу и галдят все сразу, неизвестно о чем . . .

Мы входим в одну из лавок. Навстречу нам кидается смуглая красавица (да какая красавица!) и тянет Марылю за рукав:

— Панна Марыля, хорошо, что вы пришли, вот смотрите . . .

Вынимает из продавленной коробки и бросает на просаленный прилавок великолепную шерстяную материю.

— Таких нет у нас... это из Кракова, вы понимаете, панна Марыля — из Кракова! контрабанда...

Смотрим... любуемся...

На черном фоне — чудесные красные розы с темно-зелеными листьями, а между ними — букетики из желтых и лиловых цветов...

— Ида, придержите эту материю для меня; я скажу Аре — она, наверное, купит...

— Берите в кредит...

— Я и так вам должна...

— Какое это имеет значение?..

Уговариваемся, что возьмем материю на обратном пути...

Проходим мимо других лавок. Марылю все знают, кланяются ей, спрашивают про нашу мать, просят передать ей привет. Говорят по-польски с сильным еврейским акцентом. Богатые евреи живут в чистой части города и одеты как поляки — по-европейски.

Русские почти все в форме: чиновники, офицеры, солдаты, полиция и учащиеся. Почему-то много китайцев. Одеты, как на чайной обложке — смотреть на них — смех один... Но мы, благовоспитанные барышни, идем в белых перчатках в парк и на самое смешное смотрим без улыбки — так полагается.

В парке — чудно. Тенистые аллеи, лужайки, холмы клумбы, ручейки — над ними мостики, нечто вроде рощицы и большой, большой пруд. Всюду удобные скамейки. Мы садимся и сразу, конеч-

но, появляется кавалер. Все они типа Янка: хорошо одеты, а присмотришься — локти на пиджаке и брюки сзади лоснятся. Подошвы ботинок, наверное, протерты, а на каблуках, ради экономии, резинки . . . Сразу вычисляю, что такому будет трудно угостить нас мороженым или кофе с пончиками, а если угостит, то потом несколько дней будет есть впроголодь.

Лодка и качели дешевле чем кофейня, и меня спрашивают о моем выборе.

Обожаю и то и другое, но вот голова моя так устроена, что думаю обо всем вперед.

— А мы не утонем? — спрашиваю, стараясь скрыть, охватившее меня, волнение.

Марыля объясняет кавалеру:

— Моя сестренка не то чтобы труслива, но она слишком много думает, представляет себе всякие опасности . . .

Кавалер делает вид, что мной интересуется, на самом деле он взбешен моим присутствием, но ради Марыли улыбается и успокаивает меня: пруд-де неглубок. Когда он расплачивается за лодку, я успеваю заметить, что кошелек у него не очень толст, но все-таки он предлагает и качели. Марыля радостно вскакивает на сидение, хватает руками веревки, раскачивается стоя. Страшно смотреть — как высоко взлетает она и все ей мало — хотела бы быть выше облаков. Платье ее раздувается, как парус, нижние юбки, обшитые кружевом, бьются вокруг ее стройных ног, как белая пена . . .

Кавалер вовсе не отворачивается, наоборот —

он в восторге и аплодирует не столько отваге Марыли, сколько этим, дразнящим его взор, кружевам . . .

Кавалер окончательно влюблен и ведет нас в кофейную — будь что будет.

Мы пьем кофе со сливками (по варшавски), едим ароматные пончики и «хворост», тающий во рту, потом мороженое . . . Я в недоумении: может быть протертый костюм кавалера — только для отвода глаз? Вспоминаю историю Польши: один из королей (Казимир Великий) переодевался нищим, бродил по деревням, изучал людей . . . Его прозвали: «круль хлопкув'. А вдруг и кавалер Марыли не голодающий студент, а сын какого-нибудь миллионера? Марыля тоже, должно быть, такого же мнения и потому направляется с кавалером в тенистую аллею, мне велит идти вперед.

«Дети вперед» . . . Это не ее изобретение: другие барышни тоже толкают своих младших сестренок вперед — такая уж наша доля . . . Мы все слышим, но ничего не видим, потому что полагается идти степенно, не оглядываясь. До наших детских ушей доносится страстный шёпот, короткий смешок, иногда звук поцелуя . . . Если из любопытства замедлишь шаги, малышу непременно нечаянно или нарочно отдавят пятки . . .

Соблюдая интересы сестры я возвещаю:

«Идут дочки адвоката К.»

Марыля сейчас же приближает меня к себе — идем все трое в одну линию. Дочки конкурента моего отца ненавидят моих сестер, а в особенно-

сти Марылю. Мои сестры красивые и пользуются свободой, а тех, как детей, водит француженка гувернантка.

Девицы идут парами, маршируют как солдаты: раз два, раз два. Машут руками. Ноги у них огромные и обувь на низком каблуке, а головы маленькие и прически гладкие: вместо шляп — какие-то шапочки; костюмы мужского покроя. Парижский шик! Девицы до талии худенькие, а от талии вниз — настоящие страусы.

Проходя мимо нас смотрят с нескрываемой завистью на Марылю и ее кавалера, Марыля — вызывающе на них . . .

Завтра весь город будет знать с кем гуляла Марыля (про мое присутствие не скажут ни слова).

Хорошо еще, что не видели, как мы уплетали пончики и как Марыля взлетала на качелях, соблазняя своего кавалера стройностью ног и белоснежностью кружев.

## IX

В городском парке часто устраивались «забавы»: кинематограф на открытом воздухе, фейерверк, оркестр, бой конфетти́, серпантины, цветные фонарики . . .

Я видела там лилипутов со старческими лицами. Они глядели сердито на больших нормальных людей а на детей так, словно хотели их «сглазить» . . .

Ослики тоже были недовольны людьми: они уставали таскать день деньской на спине веселую детвору. «Вам забава, а нам труд», — говорили они всем своим видом... Маленькие обезьянки с человеческими глазами и пушистые медвежата проделывали забавные номера...

Турки в красных фесках, высокие и толстые, бойко торговали восточными сладостями; высохшие, как осенние листья, китайцы шмыгали среди публики, протягивая на ладони изумительный свой товар: разные фигурки и шкатулочки тонкой художественной работы, из слоновой кости... Польские кустарные изделия говорили о большом вкусе и талантливости нации. Светловолосые «Зоси» и «Ядвиги» с тонкими чертами лица, с гибкими талиями, спокойно, без жеманства, встречали восхищенные взгляды мужчин... «Казимиры» и «Владиславы», веселые и остроумные, хранили на дне своих глаз вековую печаль и желание извлечь из сундуков дедовские «контуши» и «конфедератки»...

На «забаве» сталкивались все классы польского народа: то тут, то там слышалась французская речь, а рядом знаменитое польское «без-пшез»...

Поляки не упускали случая слиться в одно сплоченное целое, создать иллюзию какого-то самостоятельного парада, отметить в серых буднях жизни «свой» польский день.

Но не все поляки имели возможность принимать участие в «забаве». Входной билет стоил гроши, но там, внутри, сколько было соблазнов! Се-

стры и Янек иногда ходили, но нас, детей, мать повела всего раза три — не больше.

Запомнился мне один случай.

Десятки детских и женских глаз с завистью смотрят на берущих у входа в парк билеты... Мальчишки на фонарных столбах... Мужчины в кепках поднимают высоко... высоко детей, чтобы те могли взглянуть через ограду в парк. Городовые отталкивают напирающую толпу ребят. «Посторонись!» — кричат им по-русски. Дети отхлынут как морская волна, чтоб с новой силой надвинуться на столики с билетами, на городовых, на контролеров...

Я загляделась на одного из мальчишек, он рассердился, зачем я уставилась на него, ловко дал мне подножку и сдвинул мне шляпу на лоб. Я к матери за помощью, а она, вместо того, чтобы его выбранить, протянула ему входной билет.

Мальчишка покраснел, взял билет, мнет его в руках и смущенно бормочет:

— Я вашу дочку толкнул не нарочно...

Мать ответив: — Не ври, это нехорошо, гладит ему торчащие, немытые волосы и направляет его вперед... Так мы и вошли.

Гляжу на мальчишку с недоверием, мальчишка смущенно на меня, а мать, встретив Ару и Марылю, разговаривает с ними с таким радостным выражением лица, словно их не видела сто лет. Янек тоже подскочил, тянет мать куда,то, она протестует: «Не разоряйся... не надо»...

От мальчишки отделаться уже нельзя: куда

мы — туда и он. Брат сажает меня на ослика, а мальчишка с деловым видом берет за уздечку другого...

«Постой, где твой билет?» — спрашивает хозяин осликов.

Мальчишка с важным видом протягивает ему входной билет. Старик вырывает из его рук уздечку.

«Ишь спрытный какой... хочет на шармака... Ты чей?»

Мальчишка ищет глазами мою мать...

«Вот этой пани»...

«Это неправда! Он чужой... — протестую я, и вижу как хозяин осликов гонит мальчишку прочь и как тот, упираясь, ударил его ногой. Сидя верхом я наблюдаю завязавшийся бой: старик погнался за маленьким хулиганом, а тот шмыгает между моей матерью и сестрами... Они кричат: «Ох, ох!» и спасают свои светлые платья от замусоленных детских рук... Собравшаяся публика хохочет, но уже приближается городовой. Хозяин осликов, сняв кепку, докладывает ему в чем дело, а мальчишки уж нет... Толпа, вечная защитница революционеров, спрятала его в своей гуще...

Потом он вынырнул опять; шел за нами следом и не мог понять: почему входной билет не дает ему права на все развлечения...

Янек нас угощал, а мальчишка грустно смотрел, пока мать не заметила его детскую трагедию — тогда уже до конца «забавы» он на равных со мной правах веселился, бурно выражая свою ра-

дость то свистом, то пением, а то и нецензурным словом... Публика косо поглядывала на мою мать и сестер, решив, что мальчишка член нашей семьи...

*Рукопись находится в Русском архиве при Колумбийском университете в Нью-Йорке.*

## СОДЕРЖАНИЕ